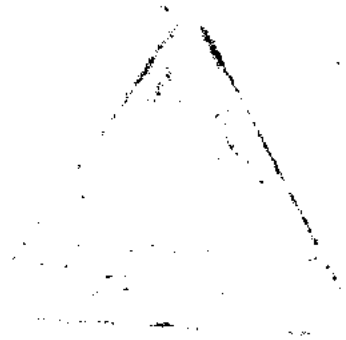


ПУШКИН

II 230

АКАДЕМИЯ НАУК
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПУШКИН
И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК XXXVII

Акад. наук СССР
Библиотека
Инв. №

Новременное издание Комиссии для издания сочинений Пушкина
при Отделении Гуманитарных Наук Академии Наук СССР

Академия наук СССР
Библиотека

ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1928

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР
Январь 1928 года
И. о. Непременного Секретаря академик *А. Ферсман*

Редактор издания *Б. Л. Модзалевский*

Начато набором в марте 1927 г. — Окончено печатанием в январе 1928 г.

2 тит. л. + 204 стр. (2 рис.) + 4 табл.
Ленинградский Облиздат № 40952. — 13 печ. л. — Тираж 650
Государственная Академическая Типография. В. О., 9 линия 12

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Новое письмо Пушкина к отцу. Б. Л. Модзалевского	1— 7
Коллективное письмо к А. П. Керн из Тригорского. Н. В. Измайлова	8— 10
Пушкин и Данте. Акад. М. И. Розанова	11— 41
Легенда о стихах Ленского. (Из разысканий в области Пушкинского печатного текста). Ю. Г. Оксмана	42— 67
«Роман на Кавказских водах». Невыполненный замысел Пушкина. Н. В. Измайлова	68— 99
Реминисценции из Вальтер-Скотта в «Повестях Белкина». Д. П. Якубовича	100—118
Заметки о Пушкине. III. Репутация Беранжера. Б. В. Томашевского	119—122
«Таврическая звезда». В. В. Вересаева	123—126
Карамзин и Пушкин. (Несколько сопоставлений) В. И. Булаковой	127—135
Письмо гр. М. С. Воронцова к П. Д. Киселеву с отзывом о Пушкине. А. А. Сиверса	136—143
Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 г. Сообщ. А. А. Достоевский	144—151
Встреча с Пушкиным в Москве в 1830 году. Сообщ. К. Пигарев	152—154
Василий Николаевич Семенов, литератор и цензор. К литературной истории 1830-х годов. К. Я. Грота	155—191
Воспоминания Н. М. Еропкиной об И. А. Крылове. Сообщ. А. С. Сомов	192—199
Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга. М. Д. Беляева и П. Е. Рейнбота	200—204

НОВОЕ ПИСЬМО ПУШКИНА К ОТЦУ

20 октября 1836 г.

Mon cher père voilà d'abord mon adresse: на Мойкѣ близъ Конюшеннаго мосту въ домѣ Кн. Волконской. J'ai été obligé de quitter la maison de Batachef, dont l'intendant est un coquin.

Vous me demandez des nouvelles de Natalie et de la marmaille. Grâce à Dieu tout le monde se porte bien. Je n'ai pas de nouvelle de ma soeur qui est partie malade de la campagne. Son mari après m'avoir impatienté par des lettres parfaitement inutiles ne donne plus signe de vie, quand il s'agit de regler ses affaires. Envoyez lui, je vous prie une *довѣренность* pour la part que vous avez donnée à Olga; cela est indispensable. Leon est entré au service, et me demande de l'argent; mais je ne suis pas en état d'entretenir tout le monde; je suis moi-même très dérangé, chargé d'une nombreuse famille, la fesant vivre à force de travail, et n'osant envisager l'avenir. Pavlichtchef me reproche les dépenses que je fais, quoique je ne suis à charge à personne, & que je n'ai de compte à rendre qu'à mes enfants. Il prétend qu'ils seront toujours plus riches que son fils; je n'en sais rien; mais je ne puis, ni ne veux faire le généreux à leurs dépents.

J'avois compté aller à Михайловское; je n'ai pas pu. Ça va encore me déranger pour un an, au moins. A la campagne j'aurois beaucoup travaillé; ici je ne fais rien, que de la bile.

Adieu mon cher père, je vous baise les mains & vous embrasse de tout mon coeur.

20 oct.
1836.

На оборотѣ: Его Высокородію М. Г. Сергѣю Львовичу Пушкину въ Москвѣ. На Лубянкѣ въ домѣ Митькова. *Почтовые штемпеля:* С.-Петербургъ 2. Октя. 1836 и неразб. и цифры: 88 и 40. Бумага большого почтового формата, голубоватая, с золотым обрезом, без водяных знаков; запечатано гербовой печатью Пушкина на черном сургучѣ.

Перевод.

Дорогой отец, прежде всего — вот мой адрес: на Мойке, близ Конюшенного мосту в доме Кн. Волконской. Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого — негодяй.

Вы спрашиваете у меня про Натали и про малышей. Слава богу, все здоровы. Не знаю ничего про сестру, которая из деревни уехала больною. Муж ее, выводивший меня сначала из терпения совершенно бесполезными письмами, не подает более признаков жизни теперь, когда речь идет об устройстве его дел. Пошлите ему, пожалуйста, доверенность на часть, которую Вы дали Ольге: это необходимо. Леон вступил в службу и просит у меня денег; но я не в состоянии содержать всех; я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обремененный многочисленным семейством, содержа его трудами и не смея заглядывать в будущее. Павлищев попрекает меня за расходы, которые я делаю, хотя я и не сижу ни на чьей шее и хотя не обязан давать отчета никому, кроме моих детей. Он утверждает, будто они всё равно будут богаче его сына, — об этом я ничего не знаю, но не могу, и не хочу быть великодушным за их счет.

Я расчитывал съездить в Михайловское и не мог. Это расстраивает меня по крайней мере еще на год. В деревне я бы много работал, — здесь я ничего не делаю, как только раздражаюсь до желчи.

Прощайте, дорогой отец, целую Ваши руки и обнимаю Вас от всего моего сердца.

20 окт.
1836.

На обороте: Его Высокородию М. Г. Сергею Львовичу Пушкину в Москве. На Лубянке в доме Митькова.

Это новое письмо Пушкина,[1] хранящееся ныне в подлиннике в Пушкинском Доме Академии Наук, представляется нам замечательным по многим отношениям. Во-первых, оно интересно по адресату: до сих пор мы имели лишь *одно* письмо поэта к его отцу,[2] относящееся к самому концу 1836 г. и находящееся, по содержа-

[1] Оно найдено в Москве ученым хранителем Пушкинского Дома Борисом Ивановичем Коплáном в небольшом собрании автографов, принадлежащем Вере Николаевне Петровой-Званцовой и перешедшем к ней от ее покойного мужа Николая Николаевича Званцова; по просьбе Б. И. Коплáна, В. Н. Петрова-Званцова принесла подлинник письма в дар Пушкинскому Дому Академии Наук.

[2] Существует еще два письма (одно из них — черновое), адресованных совместно к отцу и к матери, 1830 года.

нию, в некоторой связи с публикуемым ныне. Затем, и главнейше, оно останавливает на себе наше особенное внимание своею датою, ибо от этого времени мы имеем очень мало писем Пушкина, и, наконец, — своим содержанием, которое лишний раз и весьма отчетливо рисует перед нами душевное состояние и нравственное настроение поэта в тяжелую для него осень 1836 года, в период времени за три месяца до роковой дуэли.

Острое, плохо сдерживаемое раздражение против всего, что его окружает, против самой жизненной обстановки чувствуется едва ли не в каждом слове письма: поэт раздражен и на сестру Ольгу Сергеевну, и на ее мужа, своего зятя Павлищева, практического, нудного и бесцеремонного человека, и на его младенца-сына, и на брата своего, легкомысленного Льва Сергеевича, на обстоятельства, помешавшие поэту осуществить его горячее желание уехать на житье в деревню; наконец, в словах о том, что он «не сидит ни на чьей шее», что он «не в состоянии содержать всех»,— заключается, повидимому, намек и на поведение самого беззаботного, вечно нуждавшегося в средствах Сергея Львовича, не умевшего следить за своими делами и заботу о них зачастую перекладывавшего на старшего сына-поэта, и без того переобремененного своими личными делами и заботами высшего порядка...

Этот тон раздражения вызывался в минуту написания письма как общею тяжелою обстановкою жизни Пушкина, достаточно известною из его биографии конца 1836 г., так, главным образом, постепенно сгущавшеюся в семье поэта атмосферою флирта и ухаживаний, создавшейся от частого присутствия в его доме Дантеса, который, преследуя своею страстью Н. Н. Пушкину, был в то же время предметом обожания со стороны ее сестры — Екатерины Гончаровой. Новое письмо поэта относится к тому моменту, о котором П. Е. Щеголев в своем известном исследовании «Дуэль и смерть Пушкина» пишет:[1] «Ухаживанья Дантеса за Н. Н. Пушкиной стали сказкой города. Об них знали все и с пытливым вниманием следили за развитием драмы. Свет с зловещим любопытством наблюдал и ждал, чем разразится конфликт. Расцвет светских успехов Натальи Николаевны больно поражал сердце поэта. В марте 1836 г. Пушкина была в наибольшей моде в Петербургском свете, а Пушкин внимательным и близким наблюдателям казался всё более и более скучным и эгоистичным. В октябре того же года,

[1] «Пушкин и его современники», вып. XXV—XXVII, стр. 064.

т. е. накануне рассылки пасквилей, в Петербурге говорили о Пушкиной гораздо больше, чем о ее муже. Анна Николаевна Вульф признавала, что о Пушкине в Тригорском больше говорили, чем в Петербурге»...

Напряженное состояние, в котором находился Пушкин, искало исхода; сильнее, чем когда-либо раньше, поэт мечтал теперь уехать на постоянное житье в Михайловское, — для чего, как раз осенью 1836 г., просил у своего друга П. В. Нащокина взаймы 5000 р.;[1] в то же время он старался глубже уйти в литературные труды, в заботы о своем «Современнике»... Осенью он должен был заняться переездом и устройством на новой квартире, так как порядками, царившими в доме Баташева, на Дворцовой набережной, у Прачешного моста, он был так же недоволен, как и ранее, у Оливье, на Пантелеймонской улице, и в конце августа или в самом начале сентября 1836 г. обращался с письмом к Петербургскому обер-полицеймейстеру С. А. Кокошкину, прося его сообщить, как он должен поступить, чтобы иметь право нарушить контракт с домовладельцем.[2] Ему приходилось думать и хлопотать о делах Льва Пушкина, обращавшегося к брату с просьбою помочь ему экипироваться по случаю вступления в службу на Кавказе,[3] думать о разделе имения после смерти матери и о выделе части отца сестре, приходилось вести по этому поводу скучную переписку с зятем, Н. И. Павлищевым, — человеком до крайности мелочным и бесцеремонным;[4] всё это только усугубляло тяжесть и без того трудного нравственного состояния поэта. Поведение Павлищева, надоедавшего ему частыми письмами с самыми меркантильными и мелочными материально-хозяйственными расчетами, особенно отвратительными поэту в то трудное для него время,

1 «Девятнадцатый Век», кн. I, стр. 402.

2 5 сентября Кокошкин отвечал поэту, что для уничтожения контракта он должен обратиться к нему с формальным прошением, в коем следует описать причины, нарушающие условия со стороны владельца дома и поставляющие нанимателя в необходимость отказаться от дальнейшего проживания в оном, без чего от ответственности за квартиру поэт освободиться не может (Переписка, Акад. изд., т. III, стр. 374). В начале 1900-х гг. мы тщетно искали в архиве Петербургского Градоначальника переписки Пушкина с Кокошкиным: в то время бумаги этого архива за 1830-е годы уже были уничтожены.

3 См. письмо Л. С. Пушкина из Тифлиса от 20 августа 1836 г. — Переписка, т. III, стр. 367—368.

4 См. переписку эту, начавшуюся летом 1836 г., в Акад. изд. Переписки, т. III, стр. 338—342, 346—349, 349—350, 357—359, 368—371, 371—373 и далее.

чрезвычайно раздражало его. И действительно, достаточно прочесть письма Павлищева той поры, чтобы, зная, что тогда переживал Пушкин, понять, как они были несвоевременны и какое должны были оказывать на него действие. Письма к С. Л. Пушкину О. С. Павлищевой, из Михайловского, после перенесенной болезни[1] отправившейся в Варшаву, также поражают нас теперь полным отсутствием чуткости, родственного понимания трудного положения брата. 14 сентября она, напр., писала отцу из Острова в Москву: «Мы не имеем никаких известий от Александра, несмотря на крайне нужные письма, которые я и муж мой ему написали; он должен был приехать [в Михайловское], но не было возможности его дождаться»;[2] 26 сентября уже из Варшавы, она вновь жаловалась отцу на неполучение писем от брата,[3] а 22 октября, благодаря родителя за отказ ей своей части наследственного после жены имения, она снова сетовала, что «Александр не подает признаков жизни», прибавляя при этом, что его ждали в деревне к 5 октября, но что он тогда еще не приехал,[4] и т. д. Пушкин-отец, еще не привыкший к потере жены, которая умерла весною, называл своего зятя, в письме к сыну, человеком алчным, невежливым и безжалостным,[5] Павлищев же в свою очередь жаловался на тестя,[6] беднился перед братом своей жены, распространялся о своих плохих обстоятельствах, предлагал ему планы деловых сделок по имениям и т. п., чем вызывал у поэта такие резкие реплики: «Вы пишете, что Михайловское будет мне игрушка, — так, — для меня; но дети мои ничуть не богаче Вашего Лёли,[7] и я их будущностию и собственностью шутить не могу»[8]...

О своей жене и о четверых детях, из которых младшему ребенку, Наталье, к этому времени было всего лишь пять месяцев от роду, поэт упоминает в своем письме только вскользь, в начале,

1 О ней см. Переписку, т. III, стр. 362, и «Пушкин и его современники», вып. XII, стр. 75-81 — письма О. С. Павлищевой к отцу, С. Л. Пушкину, из Михайловского с августа 1836 г., и вып. VIII, стр. 43, 47 и др.

2 «Пушкин и его современники», вып. XII, стр. 80.

3 Там же, стр. 83.

4 Там же, стр. 85; ср. вып. VIII, стр. 44.

5 Переписка, т. III, стр. 362.

6 Там же, стр. 348, 357, 358 и сл.

7 Лев Николаевич Павлищев, род. 1834 г., ум. 1913 г. — см. «Пушкин и его современники», вып. XXIII — XXIV, стр. 222, — автор «Семейных воспоминаний о Пушкине», исполненных выдумок и ошибок, а потому не заслуживающих никакого доверия.

8 Переписка, т. III, стр. 367.

ни намёком не давая отцу знать о том, что у него в семье не всё благополучно, что именно это неблагополучие заставляет его сердце обливаться желчью и досадовать на то, что ему не удалось уехать в деревню, где он много работал бы и получил бы возможность, сократив расходы, поправить свои сильно запутанные финансовые дела...

Упоминая о брате своем, Пушкин не сообщает отцу никаких о нем подробностей, так как и сам Лёв Сергеевич, уехав из Петербурга, ограничился лишь самым кратким уведомлением брата о том, что он определен в военную службу;[1] скажем, поэтому за него, что он, пробыв (с 30 июля 1834 г.) в отставке, 13 июля 1836 г. был зачислен по кавалерии (штабс-капитаном), с состоянием при Отдельном Кавказском корпусе, и, по приезде в Тифлис, лишь 26 декабря был прикомандирован к определенной части, — именно, к Гребенскому казачьему полку; со 2 января 1837 г. он находился в экспедиции против горцев[2] и лишь вернувшись из нее, узнал 15 марта о гибели брата; по этому поводу он 19 числа писал отцу из станицы Червленой, что получение этой ужасной новости сразило его, что с этой минуты он сделался как сумасшедший, не сознает, что̀ делает и что̀ говорит; что если бы у него было сто жизней, — он отдал бы их все на то, чтобы выкупить жизнь убитого брата[3]... Так отозвался на его смерть этот легкомысленный, безалаберный и, по внешним поступкам, такой безразличный к брату человек: он прекрасно, конечно, понимал, кого лишился он, вместе со всем русским обществом...

«Без биографии Пушкина»,—писал один из ближайших друзей поэта, «как без ключа, нельзя проникнуть в таинство самой поэзии».[4] И действительно, новое письмо поэта к отцу от 20 октября 1836 г., имеющее важное биографическое значение, в общем служит прекрасным комментарием к целому циклу стихотворений, завершающих земную и поэтическую жизнь Пушкина: при свете проникающего его настроения нам становятся более понятными такие пьесы последнего времени его жизни, как: «Художнику», «Из Пиндемонте», «Отцы Пустынники», «Когда за городом задумчив я брожу», «Памятник», «19 Октября 1836 г.», «Пора мой друг,

[1] Переписка, т. III, стр. 367—368.

[2] Л. Н. Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 39; «Пушкин и его современники», вып. VIII, стр. 60.

[3] «Пушкин и его современники», вып. VIII, стр. 60—61.

[4] П. А. Плетнев, Сочинения, т. III, стр. 241.

пора!», и, наконец, относимый, к той же эпохе набросок «О нет, мне жизнь не надоела», показывающий, какая тяжелая борьба происходила в душе поэта в последние месяцы его жизни; с этою жизнью он в тяжких мучениях и расстался в том самом доме кн. Волконской, о переезде в который сообщал отцу всего за три месяца до своего рокового конца.

Б. Модзалевский.

20 Ноября 1926.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО К А. П. КЕРН ИЗ ТРИГОРСКОГО

В «Воспоминаниях о Пушкине» Анны Петровны Керн, сообщенных, без имени автора, П. В. Анненковым в «Библиотеку для Чтения» 1859 года, была напечатана, одним из приложений, «приписка (Пушкина) в письме сестры А. Н. В—ъ», т. е. сестры Алексея Николаевича Вульфа — Анны Николаевны.[1] На Пушкинской выставке, устроенной в 1880 году в Петербурге Литературным Фондом, подлинное письмо было выставлено его владельцем, М. И. Семевским, и так (не вполне точно) аннотировано: «Приписка Пушкина к Анне Петровне Керн в письме А. Н. Вульфа к сестре, 1 сентября 1827 г., с подписью „Яблочный пирог“».[2] Указание это, однако, не обратило на себя внимания издателей Пушкина: П. А. Ефремов, впервые собравший письма поэта, напечатал «приписку» без даты,[3] присоединив ее к письмам 1825 года; то же делали последующие издатели, — пока Академическое издание Переписки Пушкина не дало произвольной даты: «Конец октября — ноябрь 1828 г. Малинники»,[4] — вероятно, по кажущейся связи с письмом к А. А. Дельвигу, напечатанным вслед за «припискою» и написанным, действительно, из Малинников в ноябре 1828 г. С такою датировкою письмо вошло и в издание С. А. Венгерова,[5] и в «Труды и дни Пушкина», И. О. Лернера.[6]

Осенью минувшего 1926 года это письмо, вместе с другими письмами Пушкина к А. П. Керн, было приобретено Пушкинским Домом, и теперь явилась возможность, напечатать его целиком — т. е., с неизвестным до сих пор остальным текстом, принадлежащим сестре и брату Вульф, — а также восстановить точную дату.

[1] «Библиотека для Чтения» 1859, том 154, апрель, стр. 137.

[2] Каталог Пушкинской выставки, устроенной Комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, С.-Пб. 1880, стр. 50.

[3] Издание Ф. И. Анского, М. 1882, т. VII, стр. 265.

[4] Переписка, том II, стр. 80.

[5] Том VI, стр. 39.

[6] Изд. 1910 г., стр. 180.

Письмо написано в Тригорском 1 сентября 1827 года. В этом году Пушкин, с конца июля до начала октября, прожил в Михайловском и видался с Вульфами в их усадьбе.[1] А. П. Керн жила в то время в Петербурге, куда и направлено письмо. Оно служит ответом на какое-то неизвестное нам письмо А. П. Керн к Анне Николаевне Вульф, где А. П. Керн, повидимому, сетовала на долгое молчание своего кузена Алексея Вульфа и поручала Анне Николаевне поцеловать Пушкина в глаза. Писано письмо коллективно и притом самым шутливым образом: начинает Алексей Вульф — и начинает торжественно, в нарочито высоком стиле говоря о предположенном переезде в Петербург для поступления на службу (состоявшегося, однако, гораздо позже); его прерывает сестра, Анна Николаевна, и далее текст идет, перебиваясь: снова Алексей Вульф, затем Пушкин и опять Алексей Вульф, кончающий письмо уже поперек первой и второй страницы. Подпись Пушкина «Яблочный пирог» представляет намек на какие-то, неизвестные нам подробности письма А. П. Керн. Самое же интересное в этом коллективном послании — упоминание в приписке Алексея Вульфа, после даты, о рисунке Пушкина, изображающем Тригорское и сделанном на пакете, в который было обернуто и запечатано письмо. К великому сожалению, рисунок этот, несмотря на полу-иронический совет Алексея Вульфа «сохранить его для потомства», до нас не дошел, и не осталось о нем даже упоминания в «Воспоминаниях» Анны Петровны. Повидимому, он затерялся безнадежно, как затерялось многое, что поистине является «доказательством обширности гения» Пушкина и должно было бы свято храниться.[2]

Н. Измайлов.

[*Рукою Алексея Н. Вульфа:*] Точно, милой мой другъ, я очень давно къ тебѣ не писалъ; главнѣйшая причина была та что я надѣялся ежедневно ѣхать въ Петрб. но теперь когда я вижу что сія желанная минута не такъ скоро приближится я рѣшаюсь тебѣ снова напомнить обо мнѣ. — Судьбѣ угодно, чтобы прежде нежели я вступилъ на опасную стезю честолюбія я бы поклонился праху предковъ моихъ какъ древніе Витязи сѣвера оставляя родину

[1] См. рассказ А. Н. Вульфа о посещении им поэта в Михайловском 15 сентября, у Л. Н. Майкова — «Пушкин», стр. 176—178.

[2] О рисунках Пушкина имеется специальный этюд А. Эфроса в журн. «Русский Современник» 1924 г., № 2.

бѣседовали на могилахъ своихъ отцевъ — конхъ въ облакахъ блуждающія тѣни — прости мой Ангелъ я было хотѣлъ себя сравнить съ Оссіановыми Героями и уже былъ на пути — но Сестра которая, стоя передъ зеркаломъ взбивала кудри дала мнѣ замѣтить какъ хорошо у ней [ло] правая* сторона взбита, и тѣмъ прервала полетъ моей фантазіи, и

* (ошибся левая).

[*Рукою Анны Ник. Вульф:*] Не могу вытерпеть чтобы не прервать его поэтическ. разсказа — [За] [Кто] и чтобъ не сказать тебѣ что ты обязана сему двумъ тарелкамъ ореховъ и яблоковъ съ зернышками, которыя опъ съ ѣлъ для вдохновенья et cela par sympathie en voyant dans ma lettre que tu mangois du paté — et lui mange des noisettes* et des pommes etc. etc. — [*Рукою Алексея Н. Вульфа:*] Ты видишь что Сестра не даетъ

* [*Рукою Алексея Н. Вульфа:*] ком для меня столь же вкусны какъ для тебя пироги яблочные.

[*Рукою А. С. Пушкина:*] Анна Петровна, я Вамъ жалуюсь на Анну Николавну — она меня не цаловала въ глаза какъ вы изволили приказывать. Adieu, belle dame.

Весь вашъ
Яблочный Пирогъ

[*Рукою Алексея Н. Вульфа:*] равно какъ и АП мнѣ сказать тебѣ безъ дальнихъ околичностей что я на сихъ дняхъ ѣду въ Тверь а послѣ когда Богъ поможетъ и къ Вамъ в Питеръ.

[*Его же рукою, поперек текста, с 1-й страницы:*] вотъ тебѣ покуда нѣсколько словъ пріѣхавъ въ колыбель моей любви я напишу тебѣ болѣе. Здравствуй.

1 Сентяб. 827
Тригорскъ

Разпѣчатавъ пакетъ ты найдешь на немъ видъ Тригорскаго написанный А. С. П⟨ушкиным⟩ сохрани для потомства ето доказательство обширности *Генія*, знаменитаго поста, обнимающаго все изящное.

ПУШКИН И ДАНТЕ

Италия, волшебный край,
Страна высоких вдохновений!

Пушкин.

I.

Всем нам хорошо памятны звучные стихи Боратынского:

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?

В этих стихах прекрасно отразилась та тяга к Италии, та любовь к ее природе, искусству, поэзии, великому прошлому, которые были свойственны не только русскому поэту, но и многим его современникам. Прежде всего, эту тягу и эту любовь всецело разделяли романтики во Франции, Англии, Германии. В их глазах Италия была окружена необыкновенным ореолом, как земля обетованная, куда неустанно летели их помыслы в погоне за новыми впечатлениями, эстетическими эмоциями и поэтическим вдохновением. Среди исторических руин Рима обдумывал Шатобриан первое свое крупное произведение «Гений Христианства». В том же Риме Ламартин благоговейно склонялся перед гробницею Тассо, проливая слезы. Едва ли не бо́льшую часть жизни провел в Италии Стендаль, с гордостью именовавший себя Arrigo Beyle, Milanese, и завещавший похоронить свой прах в очаровавшей его стране. Туда совершали паломничества г-жа Сталь, Жорж Занд, Мюссе́, Мериме́, Теофиль Готье и многие другие французские писатели, всегда вынося из Италии новый запас поэтических вдохновений. То же было и с романтиками английскими и немецкими. Вспомним хотя бы Байрона, Шелли, Гофмана.

В распространении интереса и любви к Италии большую роль сыграли два выдающихся произведения: роман г-жи Сталь «Коринна,

или Италия» (1807), в котором знаменитая писательница дала очень яркую и прочувствованную картину излюбленной поэтическими натурами страны, и затем, немного позже, — четвертая песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона (1817), всецело посвященная восторженному прославлению Италии, ее природы, искусства, литературы. В Италии провел семь последних лет жизни, пору наивысшего расцвета таланта, великий певец индивидуализма и «мировой скорби», могучий «властитель дум» своего поколения. Нередко вдохновляли его итальянские темы. Таковы его произведения: «Паризина», «Жалоба Тассо», «Беппо», «Ода к Венеции», «Пророчество Данта», драмы «Марино Фальеро», «Двое Фоскари» и др. Письма его пестрят сочувственными отзывами о деятелях итальянской литературы, которую он знал превосходно, не прибегая к помощи переводов.

Пример Байрона не мог пройти бесследно для его многочисленных поклонников, обвороженных блеском его художественного таланта и глубиною лирических настроений и переживаний. К числу их, в начале двадцатых годов, принадлежал и Пушкин, который, по его собственному выражению, «сходил с ума по Байрону».

Неудивительно, что его порывы к Италии — кроме влияния со стороны Батюшкова, пионера нашей итальяномании — зародились при ближайшем участии воздействий байроновской поэзии. Об этом свидетельствует сам Пушкин. Его особенно тянет в те места, которые были прославлены английским поэтом:

Адриатические волны,
О, Брента! Нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона:
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С Венецианкой молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле, —
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

(«Евгений Онегин» I, 49; 1823 г.)

Так писал Пушкин на юге, бродя по берегу моря «тихий и туманный, заветным умыслом томим», мечтая о своем «поэтическом

побеге» в ту же обетованную страну. Не изменилось его отношение к Италии и на севере; имя ее вновь вызывает воспоминание о Байроне:

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море тихою волной
Вокруг развалин тихо плещет,
Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во тьме ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы,
Где Рафаэль живописал,
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял,
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал?

(1827)

Несколько позже он готов ехать туда,

Где Тасса не поет уже ночной гребец,[1]
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи.

(«Элегический отрывок», 1829)

Эпитетами «златая», «прекрасная», «счастливая» сопровождает он обыкновенно имя Италии. «Язык Италии златой звучит по улице веселой» — говорится об Одессе в «Странствии Онегина». Овидий — «златой Италии роскошный гражданин»; он молит приблизить его гроб «к Италии прекрасной» («К Овидию», 1821). «Под миртами Италии прекрасной он тихо спит» — читаем в стих. «19 Октября» (1825) об одном из лицейских товарищей поэта. Итальянцы — «сыны Авзонии счастливой» («Странствие Онегина»). Повесть «Анджело» начинается стихом: «В одном из городов Италии счастливой».

Попасть в Италию Пушкин считал особенным счастьем. «Счастливец! Он видел и Рим, и Везувий» писал он о Перовском

---

[1] Ср. «Childe Harold», п. IV, строфа III:

В Венеции замолкла песнь Торквато,
Безмолвно правит гондольер веслом.

в письме к Жуковскому (17 авг. 1825). В январе 1830 г. он просил позволения у властей совершить поездку в Италию, но получил отказ.[1] Пребывание С. П. Шевырева в Италии и переписка с ним дали поэту повод заочно пережить возможные впечатления итальянского путешествия. «Мы жители прозаической Москвы (писал он Шевыреву 29 апреля 1830 г.) осмеливаемся писать к Вам в поэтический Рим, надеясь на дружбу Вашу — Возвратитесь обогащенный воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и *оживите нашу дремлющую северную литературу*».

Слова эти (в особенности — подчеркнутые нами) глубоко знаменательны. Они показывают, что от знакомства с Италией Пушкин ждал благодетельных последствий для родной литературы. Классическая страна Возрождения, «счастливая Авзония» призывалась, как «страна высоких вдохновений», содействовать пробуждению этой литературы из дремотного состояния. В интересах русской литературы, по мнению поэта, были желательны не только впечатления от природы, искусства и «помазанных елеем истории»[2] памятников Италии, но также и восприятие ее поэтического творчества, ее литературных сокровищ.

Этому делу оживления «дремлющей» русской литературы воздействием итальянского поэтического гения служил сам Пушкин втечение многих лет. Правда, что итальянские отголоски в его поэзии звучат, может быть, несравненно слабее и реже, чем английские, французские и некоторые другие; правда, что исследователю приходится здесь иметь дело с разрозненными фактами, незаконченными попытками, неуловимыми созвучиями и мимолетными мотивами. Тем не менее, было бы большою ошибкою упускать из виду эту *итальянскую струю* в величавом и полноводном течении его поэзии. Изучение ее необходимо для законченности картины его художественного творчества.

Ко времени пребывания Пушкина на юге, в ссылке, когда он так увлекался Байроном, большим итальяномзом, относится, повидимому, начало интереса его к итальянскому языку и литературе. Итальянские фразы, попадающиеся в переписке поэта,[3] а также те, которые вложены им в уста импровизатора во вступлении к «Египетским ночам», заставляют предполагать, что ему не чужд был разговорный итальянский язык. Познакомился он с ним, конечно, в Одессе, где в то время чуть не половина населения состояла из итальянцев и «Язык Италии златой звучал по улице веселой» («Странствие Онегина», стр. XVIII).

[1] Сочинения, изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. LII.

[2] Выражение Спасовича («Байрон и некоторые из его предшественников»).

[3] Письма из Михайловского к Плетневу, лето 1825, и к Катенину, сентябрь 1825 (Переписка, Акад. изд. I, 251 и 285. Ср. новое издание под ред. Б. Л. Модзалевского, стр. 142 и 161).

В Одессе Пушкин очень увлекался итальянской оперой, часто посещал ее. «Ресторация и Итальянская Опера напомнили мне старину и, ей богу, обновили мою душу... Я нигде не бываю — кроме в Театре» — писал он брату (25 августа 1823 г.), прибавляя в письме к Дельвигу, 16 ноября: «Правда-ли, что едет к нам Россини и Итальянская опера? — Боже мой! — Это представители Рая небесного. Умру с тоски и зависти».[1] Об «упоительном Россини» говорится, при описании Одессы, и в «Странствии Онегина»; после его оперы —

> Сыны Авзонии счастливой
> Слегка поют мотив игривой,
> Его невольно затвердив;
> А мы ревем речитатив (стр. XXVII).

Воспринимая итальянский язык в неизбежном общении с населением итальянизированной Одессы и при постоянном посещении восхищавшей его оперы, Пушкин в числе своих близких знакомых имел природную итальянку Амалию Ризнич, ставшую предметом его страстного увлечения, а также «корсара в отставке» — Морали («Странствие Онегина», стр. XVIII), который, по свидетельству гр. М. Д. Бутурлина, был «неразлучным компаньоном великого поэта» и «изрядно говорил по-итальянски».[2] Практики, таким образом, было достаточно, а особенно для человека со способностями Пушкина.

К тому же времени ссылки на юг относятся первые его итальянские цитаты из литературных произведений. Поэму «Кавказский пленник» (1821) он предполагал снабдить эпиграфом из поэмы Ипполито Пиндемонте (1753—1828) «Viaggi»: «Oh, felice chi mai non pose il piede» и т. д. пять строк, — не попавшим, однако, в печатное издание.[3] К третьей главе «Евгения Онегина», начатой в Одессе в феврале 1824 г., предназначался эпиграф из Данте, а именно начальная терцина обращения поэта к тени Франчески

[1] Ibid. 75, 87.

[2] Ю. Верховский, «Пушкин и итальянский язык» («Пушкин и его современники», вып. XI, 1909, стр. 105, прим.).

[3] П. В. Анненков, «Материалы для биографии А. С. Пушкина», СПб. 1873, стр. 89, прим.

да Римини (V-ая песнь «Ада»): «Ma dimmi: al tempo de dolci sospiri» и т. д., — также впоследствии замененный другим.[1] Вспомним также, что шестой главе «Евгения Онегина» (1827) предшествует двустишие из канцоны Петрарки «A Giacomo Colonna», а «Каменному Гостю» предпослан эпиграф из итальянского либретто моцартовского «Дон Жуана».

Знаменательна эта тяга Пушкина к итальянским эпиграфам. Даже задумав статью о Байроне, он на заглавном листе делает итальянскую выписку, которая, очевидно, должна была служить, как motto: «Ma chi cerca sinceramente la verità, invece da lasciarsi spaventare del ridicolo, deve far un ogetto di esame del ridicolo stesso».[2]

Иногда поэт говорит о различных итальянских специфических выражениях, как вполне понимающий дело. Так, еще в письме к Катенину из Кишинева (19 июля 1822) он намекает на особый смысл глагола *piombari*,[3] а в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“» («Современник» 1837) делает следующее замечание: «Недавно (в Телескопе, кажется) кто-то, критикуя перевод, хотел, вероятно, блеснуть знанием итальянского языка и пенял переводчику, зачем он пропустил в своем переводе выражения «battersi la guancia» — бить себя по щекам. «Battersi la guancia» значит — раскаяться; перевести иначе не было бы никакого смысла».[4]

Не похоже на Пушкина, чтобы он так решительно поучал критика, если бы его собственное знание итальянского языка стояло на таком низком уровне, как предполагал Ф. Е. Корш.[5] К тому же, указанное выражение не особенно часто употребляется и не во всяком итальянском словаре отмечено. Пушкин мог познакомиться с ним по I-ой песни «Orlando furioso» Ариосто, строфа 6-ая.[6]

---

1 М. Л. Гофман, «Пропущенные строфы Евгения Онегина» («Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV, Петербург. 1922, стр. 25). Цитата из Данте напечатана здесь в совершенно искаженном виде.

2 «Но кто чистосердечно отыскивает истину, тот не должен отступать перед смешным, а напротив, смешное сделать предметом своего исследования». П. В. Анненков, «Материалы» и т. д., 263—264.

3 Переписка, Акад. изд. I, 47—48.

4 Сочинения А. С. Пушкина, изд. Л. Поливанова, М. 1887, т. V, 228—229.

5 «Знал-ли Пушкин по-итальянски?» («Пушкин и его современники», вып. VII, СПб. 1908, стр. 51—56). Ближе к истине, несомненно, Ю. Верховский, l. c., и В. Брюсов («Русский Архив» 1908, III, стр. 583—591).

Per far al re Marsilio e al re Agramante
Battersi ancor del folle ardir *la guancia* и т. д.

По свидетельству хорошо осведомленного Анненкова, ссылающегося на показание отца поэта, Пушкин много читал по-итальянски.[1] В его библиотеке, составляющей, в настоящее время, собственность Пушкинского Дома Академии Наук, сохранилось до *тридцати томов* итальянских писателей в подлиннике.[2] Тут мы находим Данте, Боккаччьо, Ариосто, Касти, Альфиери, Сильвио Пеллико, Манзони и др.; много также французских переводов итальянских писателей.

Историю итальянской литературы Пушкин, повидимому, очень внимательно изучал по лучшим тогда трудам двух французских ученых, принадлежавших к кружку г-жи Сталь: Женгенэ (1748—1816), заслужившего себе почетную известность фундаментальным трудом «Histoire littéraire de l'Italie» (1811—1819, 9 томов, 2-ое издание 1824 г. также в 9 тт.)[3] и Сисмонди (1773—1842), который в 1813 г. издал «Histoire de la littérature du midi de l'Europe», в 4 томах, явившуюся первым опытом сравнительного изучения истории южно-романских литератур. Оба сочинения были настоящим откровением для французских романтиков, тяготевших к итальянской литературе;[4] по ним вникал в ее прошлое Байрон;[5] у нас их тщательно штудировал Батюшков, делая выписки, и глубоко сожалел о смерти Женгенэ (в 1816 г.), считая себя «много обязанным» ему.[6]

Они сохранились, в полном составе, и в библиотеке Пушкина и, несомненно, были использованы им, в особенности для изучения итальянских классиков. В труде Женгенэ Данту отведено полтора тома, Петрарке и Боккаччьо — почти по одному тому; очень обстоятельна рассмотрена деятельность Ариосто, Тассо, Макиавелли и

---

1 «Материалы», стр. 89.

2 Б. Л. Модзалевский, «Библиотека А. С. Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. IX—X. СПб. 1910 г.).

3 Последних два тома издал Salfi. О Женгенэ, ярком руссоисте, члене Конвента и Французском посланнике в Турине см. мою книгу «Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX вв.», М. 1910, т. I, стр. 360—361, 372—377.

4 Joseph Texte, «Les relations littéraires de la France avec l'Allemagne» в «Histoire de la langue et de la littérature française» под ред. L. Petit-de-Julleville, t. VII.

5 Byron's Letters and Journals, London 1901, vol. V, 234.

6 Письма к П. А. Вяземскому и И. И. Гнедичу [illegible] Батюшкова, СПб. 1886, III, 431, 423). Из первого письма видно, что Вяземский был знаком с сочинениями Женгенэ и Сисмонди.

других. Автор приводит массу итальянских цитат из их произведений, сопровождая переводом на французский язык, что для всякого внимательного читателя давало хорошую практику в итальянском языке. Эта обширная работа являлась своего рода энциклопедией итальянской духовной культуры за много веков. Для Пушкина она не могла пройти даром.[1]

II.

Из старых итальянских поэтов на первый план выдвигается у Пушкина колоссальная личность вдохновенного певца «Божественной Комедии», этой, по выражению Карлейля, «величайшей в мире книги», в которой «десять пребывавших в немоте веков чудным образом нашли себе выражение».

«Суровый» Дант, «il gran padre Alighieri» — так именует «ветхого», убеленного сединами веков великого Флорентинца его русский чуткий ценитель, идя и в данном случае по следам Байрона, который был страстным поклонником певца Беатриче и, живя в Равенне близ его гробницы, переводил V песнь «Ада» и писал терцинами «Пророчество Данте» — прочувствованный призыв к независимости Италии. Приведенное итальянское выражение Пушкина употреблял и Байрон, повторяя первый стих из сонета Альфиери:

O, gran padre Alighieri, se dal ciel miri...

Альфиери, в свою очередь, лишь отражал то необычайно интенсивное увлечение Дантом, которое переживала тогда Италия, видя в нем в особенности великого носителя идеи национального единства. «Романтический патриотизм» всего более руководил Уго Фосколо и многими другими новыми издателями «Божественной Комедии». Байрон записал в своем дневнике 29 января 1821 г.: «Итальянцы говорят о Данте, пишут о Данте, думают о нем наяву и во сне».[2]

Оживление интереса к Данту передалось и в другие культурные страны. Во Франции один из членов кружка Шарля Нодье, этого объединителя первых романтиков, Дешан сделал новый перевод

[1] Заметка Пушкина об иезуите Поссевине, как «одном из самых ревностных гонителей памяти Макиавелевой» («Мелкие заметки 1829—1831 г.», Сочинения, изд. Л. Поливанова, V, 117) заимствована из Женгенэ, т. VIII, стр. 71—85.

[2] «Letters and Journals», изд. Prothero, L. 1901, vol. V, 193.

«Божественной Комедии», вскоре очутившийся в библиотеке Пушкина. Эта дантовская волна докатилась и до России. Батюшков, первый энтузиаст итальянской литературы у нас, был пионером и здесь. Начали появляться переводы А. С. Норова.[1] К 1827 г., относится перевод терцинами первых трех песней «Ада», сделанный П. А. Катениным и вошедший в собрание его сочинений, изданное в 1832 г. В своей рецензии на это издание Пушкин упоминает о «мастерском переводе трех песен из Inferno».[2] Кроме того, Пушкин «умолял» С. П. Шевырева, бывшего тогда в Италии, переводить Данте.[3]

В кавказском путешествии 1829 г. Пушкину сопутствует «Divina Commedia»; чтением вслух благозвучных ее терцин в подлиннике услаждает он себя, как видно из стихотворения:

Зорю бьют... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает...
На устах начатый стих
Недочитанный затих.

По словам А. О. Смирновой, показание которой в данном случае нет, повидимому, основания заподазривать, Пушкин «говорил, что в то время чтение это производило на него совсем особенное успокоительное впечатление. Зрелище войны возбуждало его, голова его горела, а величие Данта... успокаивало его пылающую голову».

Если действительно Данте производил на Пушкина успокоительное впечатление, то это лишнее доказательство в пользу того, что декламировал он «Божественную Комедию» в подлиннике; никакой перевод не в состоянии был произвести достаточно эстетическое впечатление на такого «взыскательного художника»: только гармония дантовского кованого стиха могла это сделать, чаруя соответствием содержания с его словесным выражением.

Редки и кратки суждения Пушкина о Данте, но они ценнее и содержательнее иных многоречивых страниц. Меткость и лаконичность гармонируют с их глубиною и яркостью. Вот одно из них: «Единый план Дантова «Ада» есть уже плод высокого гения».

[1] «Сын Отечества» 1823, № 30; «Литературные листки» 1824, № 4; «Новости литературы» 1825, № 12.

[2] «Литер. прибавления к Русскому Инвалиду» 1833 г., № 26.

[3] «Пушкин», изд. Брокгауза и Ефрона, VI, 431.

А вот другое: «Высшая смелость — смелость воображения, создания, *где план обширный объемлется творческою мыслью;* такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в „Фаусте“»... Как чувствуется здесь «взыскательный художник», проникший в «святое святых» поэтической архитектоники, постигший тайны и обаяние возвышенной творческой мысли! По-истине, это гений, толкующий гения.

Приведу еще один афоризм Пушкина, дорисовывающий его отношение к творцу «Божественной Комедии»: «Мильтон и Данте писали *не для благосклонной улыбки прекрасного пола*». Этим Пушкин отмежевывается от салонной и жеманной французской поэзии XVIII в., на которой он был воспитан, и разрывает с любимцем своим Вольтером, в глазах которого «Божественная Комедия» была «уродливым порождением варварского готического вкуса»; «компания из Данте, Виргилия и синьоры Беатриче», как он выражался, срывала с саркастических уст «циника поседелого» лишь презрительную усмешку.

От суждений Пушкина о Данте перейдем к его поэтическим перевоплощениям Данта.

Высоко замечателен отрывок «В начале жизни школу помню я» (1830). Он написан дантовскими терцинами, сжатыми, точными, как бы чеканными из металла. Стихи ложатся, один на другой, как мраморные ступени тянущейся куда-то ввысь, в таинственную даль, лестницы. Поэтический стиль Данте усвоен изумительно. Сходство не ограничивается формовкою стиха, как обыкновенно думают, но и захватывает самую сущность содержания. Утверждение П. О. Морозова,[1] выражающее общепринятое мнение, что «по содержанию своему отрывок не имеет ничего общего с Данте», не соответствует действительности. Печать «невыразимого величия», истинно дантовского величия лежит на всем стихотворении, имеющем, несомненно, глубоко символический характер и завлекающем читателя своею таинственностью и недосказанностью.[2]

Внимательно вчитываясь в этот отрывок, все более убеждаешься, что образы Данта и его поэтические приемы постоянно носились

[1] «Пушкин», изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. LX.

[2] Символический смысл отрывка был впервые вскрыт, с большою тонкостью и проницательностью, еще в 1857 г., талантливой писательницей Кохановской (псевдоним Н. С. Соханской). Вопрос об отношении к Данту она обошла, однако, молчанием, как и все *последующие критики* (цитаты см. в изд. Л. Поливанова).

перед духовными очами Пушкина, когда он набрасывал эти вдохновенные терцины.

Уже первые строки:

1. В начале жизни школу помню я;
   Там нас, детей беспечных, было много —
   Неравная и резвая семья

напоминают невольно знаменитое начало «Божественной Комедии»: «В средине нашей жизненной дороги» и т. д., с тем различием, которое зависело от различия в замысле: Данте берется за решение этической проблемы зрелого возраста, а Пушкин — детского и юношеского. Далее следует выдержанная в дантовских тонах характеристика Наставницы, руководящей этою школою:

2. Смиренная, одетая убого,
   Но видом величавая жена
   Над школою надзор хранила строго.

3. Толпою нашею окружена,
   Приятным, сладким голосом, бывало,
   С младенцами беседует она.

4. Ее чела и помню покрывало
   И очи светлые как небеса;
   Но я вникал в ее беседы мало.

Сквозь черты этой Наставницы проглядывает образ ее прототипа, дантовской Беатриче, какою она является сначала в «Новой Жизни» с обликом реальной, но идеализованной женщины, стоящей «выше мира и страстей», а затем в «Божественной Комедии», как символ высшей, божественной Мудрости. Созданный Пушкиным образ величавой Наставницы занимает место как бы в средине между Беатриче «Новой Жизни» и Беатриче «Божественной Комедии», заимствуя отдельные черты от той и другой. Смирение, скромность в одежде, ласковость в обращении, приятный, сладкий голос — все это напоминает Беатриче «Новой Жизни», идеальную женщину высокой души, «чистейшей прелести чистейший образец». С другой стороны, величавость, моральная требовательность («Над школою надзор хранила строго»), а также черты, упоминаемые в пятой терцине:

5. Меня смущала строгая краса
   Ее чела, спокойных уст и взоров,
   И полные святыни словеса —

приближают ее более к Беатриче, какою она выступает в последних песнях «Чистилища» XXX—XXXIII, являясь перед поэтом в земном раю и изобличая его в прегрешениях и отступлении от ее заветов.

Речь свою к Данту Беатриче произносит «с величьем царственным, с осанкою суровой» (XXX, 70):

> Не кажется и сыну мать столь строгой,
> Как мне она, — так сладкий мед любви
> Ее ко мне был полон желчью многой! (ib. 79—81. Пер. Д. Мина).

Обличения ее так суровы, что даже ангелы выказывают ему сострадание пением, смысл которого ему совершенно ясен: «Жена! за что его терзать напрасно?» (96).

«Очи, светлые как небеса», «строгая краса ее чела, спокойных уст и взоров» сближают пушкинский образ с дантовским. Глаза Беатриче (в «Божественной Комедии») «блистали ярче звезд», «сверкали как изумруд», обладали чудесною притягательною силою, делавшею еще более убедительными ее «полные святыни словеса».

Как в приведенном выше отрывке, так и в других местах последних трех песен «Чистилища», положение Данте перед Беатриче характеризуется, как положение провинившегося ребенка, которого журит мать. Не навело ли это Пушкина на мысль свою «Беатриче» представить в виде Наставницы?

Общий смысл созданного нашим поэтом образа понятен, но, как и всякий символ, он может быть растолкован различно, смотря по углу зрения толкователя. Эллинистически настроенный критик узрел бы, может быть, в нем Афину Палладу, принявшую образ Ментора-женщины, рационалист вольтерьянского склада счел бы его за Raison raisonnante, как единственный регулятор жизни, а руссоист, несомненно, дал бы ему имя Nature, благой и мудрой природы — матери, из рук которой все выходит совершенным, нарушение заветов которой — преступно. Но, повидимому, мы ближе проникнем в замысел Пушкина, если его «величавую жену» примем за олицетворение Высшей Житейской Мудрости, как носительницы и хранительницы основных нравственных начал человеческой жизни.[1]

[1] В черновых набросках стихотворения, хранящихся в Майковском собрании Библиотеки Академии Наук (№№ 49—53) особенно подчеркивается «убогость» одеяния Наставницы:

> [Одежды ее] [истерлись], [обветшавъ]
> Ткань ветхая, [надранная] [изст.] (№ 49)

Это подчеркиванье *ветхости, изодранности, истертости* одежд имеет, конечно, символическое значение. Это олицетворение Житейской Мудрости, исконных нравственных начал, старых традиционных представлений об истинном благе, как результат многовекового опыта. В черновой рукописи еще резче, чем в общеизвестной редакции, проведен контраст между внешнею «убогостью» и внутренним величием Наставницы:

> Но ликъ и взоры дивной той жены
> Въ душѣ глубоко напечатлены.

Вторым действующим лицом отрывка является отрок, на переходе к юношескому возрасту, — от имени которого и ведется рассказ. Отношения между ним и «величавой женой» очень напоминают отношения между Данте и Беатриче «Божественной Комедии».

Припомним XXX и XXXI песни «Чистилища». Действие происходит в земном раю. Данте встречает триумфальную колесницу, везомую грифонами и символизирующую торжество Церкви. На ней восседает Беатриче:

> В зеленой мантии, в венке заветном
> На голове сверх белых покрывал,
> Я донну зрел в хитоне огнецветном.

Прислушаемся к ее речи, изобличающей Данте в уклонении от праведного пути:

> «Он таковым в своей был жизни новой,
> Вернее — мог бы быть, что добрый нрав
> Принес бы в нем плод сладкий и здоровый.
>
> Но тем полней бывает сорных трав
> Та почва, что приняла злое семя,
> Чем лучше был землей ее состав!
>
> Моей красой он сдержан был на время,
> И, следуя младым очам моим,
> Он прямо шел, грехов отбросив бремя.
>
> Но лишь чреда настала дням вторым,
> Едва лишь в жизнь вступила я иную, —
> Меня забыл, он предался других.
>
> Когда-ж на дух сменила плоть земную
> И возросла в красе и чистоте, —
> Он перестал ценить меня, святую.
>
> И ложный путь он избрал в слепоте
> Вслед призракам пустого идеала,
> Поверивши несбыточной мечте;

Напутье свыше уж не помогало,
Каким не раз к себе в виденьях сна
Звала его, — так чтил меня он мало!

И так он пал, что мне уже одна
Спасти его дорога оставалась:
Явить ему погибших племена.

Затем-то я и к мертвым в сень спускалась
И там пред тем, который в этот край
Привел его, слезами заливалась.

Нарушится суд Божий, если в рай
Он перейдет чрез Лету, узрит розы
Небесных стран и не уплатит пай

Раскаянья, пролив здесь горьки слезы».
(«Чистилище», п. XXX, ст. 115—145. Перевод Д. Мина).

Эта сцена «Чистилища», в которой грешный Данте выслушивает изобличения Беатриче, упрекающей поэта в уклонении от предуказанных ею путей добродетели, невольно приходит на память, когда читаешь у Пушкина:

Но я внимал ее беседы мало.

5. Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров
И полные святыни словеса.

6. Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.

Существенное различие заключается в том, что перед Беатриче в указанной сцене, происходящей в земном раю, стоит Данте, уже прошедший через Ад и Чистилище, очистившийся от грехов и теперь чистосердечно кающийся в прежних заблуждениях, а Пушкин берет ретроспективно начальный момент отклонения от добродетели и вступления на путь порока.

И в этом заключается оригинальность пушкинского замысла. Дант начинает свое хождение по загробному миру «в средине нашей жизненной дороги», т. е. в возрасте тридцати пяти лет, следовательно, зрелым мужем, погруженным в греховную жизнь, но почувствовавшим потребность нравственного очищения, которое и происходит на наших глазах. Герой Пушкина (этот «Я») — юноша, едва выходящий из отрочества, переживающий момент, когда «новы все впечатленья бытия». Пушкин берет «начало

жизни» и мастерски выясняет кризис молодой души, впервые столкнувшейся с действительностью, которая и обольщает, и уязвляет его.

Дантовскому «темному лесу», символизирующему состояние духовной темноты, греховности, заблуждений, соответствует у Пушкина «великолепный мрак чужого сада», куда бегает украдкой юноша. С этого начинается вторая часть нашего отрывка:

7. И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

8. Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам мой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.

В этих строчках легко улавливаются отголоски автобиографического характера. Юноша отрывка — это он сам, Пушкин, в юные годы — и, притом, не только с присущими его возрасту заблуждениями и увлечениями: «праздномыслием», «ленью», глухотою к голосу суровой морали и т. д., но и с наполняющими его сердце, как у Данта, благородными и животворящими порывами к природе и искусству, как видно из следующей терцины:

9. Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в лицах их печать недвижных дум.

В этом таинственном саду, символизирующем всю совокупность впечатлений бытия, юноша научается ценить не только природу и искусство, но и подвиги ума, таланта и воли. Их символизируют мраморные статуи ученых, поэтов, писателей, государственных деятелей, как видно по их аттрибутам: циркулям, лирам, свиткам, мечам, лаврам и порфирам:

10. Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры — [1]

---

[1] *Десятая терцина печатается здесь по подлинной рукописи Майковского собрания № 51. Слово «мечи» в рукописи хотя и зачеркнуто, но ничем другим не заменено. Третья строка обыкновенно печатается так: «И длинные на их плечах порфиры», но эта редакция зачеркнута в рукописи.*

11. Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья[1]
При виде их рождались на глазах.

Лучше, кажется, нельзя представить образно то могучее влияние, которое могут производить на юную впечатлительную душу высокие проявления культуры, великие завоевания ума, таланта, воли. Но жизнь пестра, воздействия ее различны: на ряду с благотворными выступают пагубные, которые воплощены в два ярких образа:

12. Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Здесь Пушкин как будто вдохновился следующими словами Беатриче о Данте в «Божественной Комедии».

«E volse i passi suoi per via non vera,
Imagini di ben seguendo false,
Che nulla permission rendono intera.»
(«Purgatorio», XXX, 130—132).

т. е. «И он направил шаги свои не на истинный путь и *последовал за ложными образами блага, которые не исполняют всецело ни одного из своих обещаний*».

Такими «ложными образами блага», совращающими с пути истинного и искушающими соблазнами мира, и являются у Пушкина мраморные изваяния бесов в таинственном саду, куда скрывается его герой, недостаточно восприимчивый к «полным святыни словесам» величавой жены:

13. Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

14. Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон — лживый, но прекрасный...

Две последних строчки вполне соответствуют стиху Данта о «ложных образах блага». Дантовская метафора превратилась у нашего поэта в два выпуклых изваяния.

[1] Вариант: «умиленья» (зачеркнуто).

«Дельфийский идол», Аполлон, символизирует (как было верно замечено г-жей Кохановской) «бурную молодость, пыл ее страшных порывов, не знающих меры, огненный гнев, ее ужасающую *гордость духа*». Такое понимание вполне подтверждается черновым наброском поэта, где читается такой необработанный вариант: «Всё (в нем) дышит гордостью ума». Что символизирует второй демон, изображенный в 14 терцине, — ясно не только из эпитетов: «женообразный», «сладострастный», «прекрасный», но и из первоначальной редакции второй строчки в черновой рукописи (Майковское собрание, № 52): «*Нагой природы женской* лживый идеал» вместо «Сомнительный и лживый идеал». Есть еще в черновике такой вариант:

Другой, женообразных, сладострастных
Красот (у) греков лживый идеал...

Как в этой, так и в окончательной редакции слово «женообразный» обозначает, очевидно, не «женоподобный», а «имеющий женский образ», т. е. женщина, демон-женщина. Все это, вместе взятое, неизбежно приводит к выводу, что в 14 терцине Пушкин изображает не Диониса или другого бога, как обыкновенно думают, а богиню Афродиту. К этому нужно добавить, что третья строчка 12 терцины была написана поэтом так: «То были двух Богов изображенья», а затем *Богов* зачеркнуто и поставлено *Бесов*.

Образ «Величавой жены» отрывка напрашивается на сопоставление с двумя этими изваяниями. Она похожа на шекспировскую Гермиону в «Зимней Сказке», только что сошедшую с пьедестала, на котором она изображала статую, и не вернувшую еще себе прежней гибкости движений. Она сама напоминает изваяние. По первой редакции ей приписывается «луч недвижных взоров»:

5. Меня смущала строгая краса
Ее чела (и луч недвижных) взоров.

С этим следует сравнить сказанное о кумирах в 9 терцине:

И в ликах их печать недвижных дум.

Сначала было написано «*холодных дум*» и затем исправлено «*недвижных дум*», что великолепно рисует нам бессмертность того выражения, которое придано статуе ваятелем. «Луч *недвижных* взоров» сближает «величавую жену» с этими мраморными изваяниями.

С другой стороны, эти изваяния не мертвы: их жизнь проявляется и в необычайности — сладости и жуткости — произведенного ими впечатления, выжимающего из глаз юноши «слезы вдохновенья» (по первой редакции — «слезы умиленья»),[1] и в какой-то, так сказать, динамичности в изображении двух богов-бесов — в особенности Аполлона (Дельфийского идола). Когда вы читаете про него—

Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной —

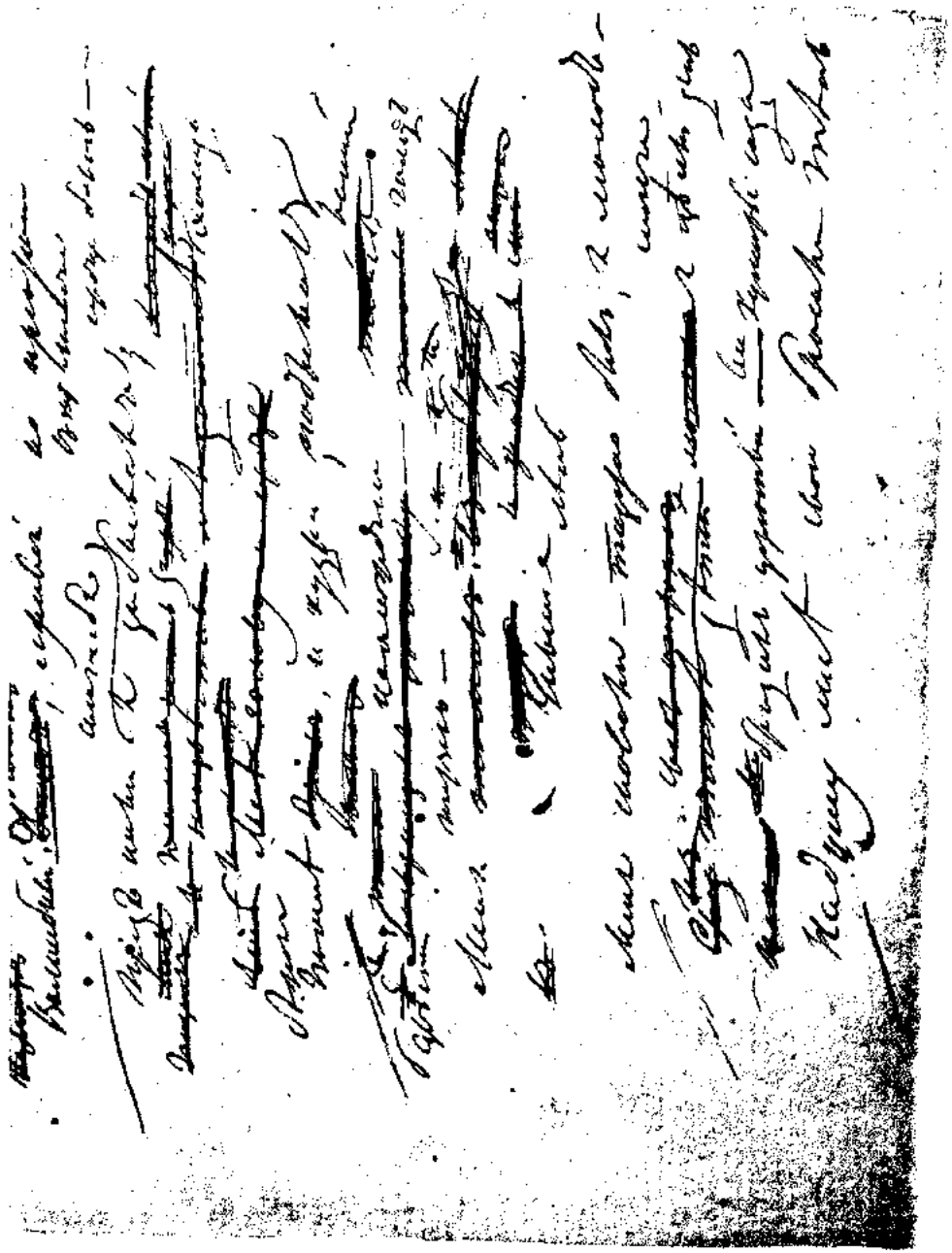
вам кажется, что он, как Галатея, оживает на ваших глазах. Такая же динамичность в изображении второго идола — Афродиты, от которого так и дышит соблазном, волшебством неотразимой красоты и непобедимой чувственности. Становится вполне понятным то потрясающее впечатление, которое оба «беса» производят на юношу.

Все это подчеркивает символичность всех трех образов: они нечто среднее между живыми существами и холодными мраморами.

Пушкинские «демоны» имеют отчасти тот же смысл, как аллегорические звери «Ада». Первый — демон гордости — соответствует дантовскому Льву, а второй — демон сладострастия — дантовской Волчице, «что в худобе полна желаний всех, для многих в жизни сей была отравой».

Совершенно понятно, почему Пушкин прибегает к другим и, в сущности, гораздо более художественным и выразительным символам. Человеку зрелого возраста, дошедшему уже до «середины жизненной дороги», ищущему выхода из состояния духовного паденья, грех гордыни и грех сладострастия могут вполне естественно представиться в виде диких зверей, внушающих ужас и преграждающих путь к нравственному совершенству (символизируемому в I песни «Ада» «холмом, освещенным лучами солнца»). Для юноши, едва вступающего в жизнь, для которого еще «новы все впечатленья бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья», когда «мира блеск и шум еще пленяли юный ум», а жизнь являлась «заманчивой загадкой», в которой подозревались «чудеса», — для такого юноши самый порок, еще неизведанный, представляется в обаятельном образе и влечет к себе «волшебной красой», «лживость» которой сознается только позже. Вот почему пушкинскому юноше соблазны мира являются в виде изваяний.

[1] Словом «умиленье» Пушкин часто выражает производимое на него искусством впечатление.



Терцины 13—17 стих. «В начале жизни школу помню я...». Собр. Л. Н. Майкова, № 52.

полных художественной красоты и обаятельной прелести, изваяний Аполлона и Афродиты.

Влияние их на юношу неотразимо. Самовольно избавившись от надзора Наставницы, он всею душою прилепляется к тому, что названо у Данта «благами телесными». В «Чистилище» Данте говорит Беатриче:

> «Путь мой совратился
> Обманным счастьем к благам тем телесным,
> Едва из глаз моих ваш образ скрылся»
>
> (XXXI, ст. 34—36. Пер. Н. Голованова).

Беатриче упрекает Данта в том, что он, восхищаясь природой и искусством, еще выше ставил красоту ее смертного тела: «Никогда еще ни природа, ни искусство не вызывали в тебе такого восхищения, как прекрасное тело, в которое я была облечена, пока не обратилось оно в прах» («Чистилище», XXXI, 49—51). Так и юноша Пушкина: «все царственные богатства человеческого духа повергаются, разбиваются, никнут перед восстающими кумирами двух бесов, которые влекут к себе с неодолимой силой» (Кохановская).

Терцинами, рисующими двух бесов (12—14), оканчивается печатная редакция пушкинского отрывка «В начале жизни школу помню я». К счастью, оказалось возможным найти еще три терцины (15, 16, 17), непосредственно примыкающих к предыдущим. Они имеются в подлинной черновой рукописи поэта из собрания Л. Н. Майкова (№ 52, Библиотека Академии Наук) в виде трудно разбираемого наброска с массой поправок. Текст их является в таком виде:

(15) Предъ ними самъ себя я забывалъ;
Въ груди младое сердце билось — холодъ
Бѣжалъ по мнѣ, и кудри подымалъ.

(16) Безвѣстн[ыхъ] наслажденій ранній[1] (?) голодъ
Меня терзалъ[2] — Унывіе [и] лѣнь
Меня сковали — тщетно былъ я холодъ —

(17) (Средь отроковъ)[3] я молча цѣлый день
Бродилъ угрюмый — все кумиры сала
На душу мнѣ свою бросали тѣнь.[4]

---

[1] Вариант: «томный», «тайный». И то, и другое зачеркнуто; слово «ранній» — предположительная транскрипция.

[2] Вариант: «томилъ».

[3] Вариант: «въ толпѣ дѣтей». Оба варианта зачеркнуты.

[4] Поставленное в 16 терцине в ломаных скобках недописано у Пушкина.

Эти три новых, не бывших еще в печати, великолепных терцины существенно дополняют отрывок и помогают выяснить его общий смысл.

В них мы находим описание того могучего влияния, которое произвели на душу отрока-юноши «два чудесные творенья» в таинственном саду. Погружаясь в их созерцание, он забывает самого себя, биение сердца выдает его чрезвычайное волнение, содрогание восторга пробегает по его членам и вздымает волосы на голове. Голод еще неизведанных и лишь ожидаемых наслаждений начинает терзать его; он познает муки неудовлетворенной страсти, душевный покой его нарушен, он впадает в состояние апатии и уныния, детской непосредственности как не бывало («Тщетно был я молод»). И вот, вернувшись в «школу», он «молча целый день бродил угрюмый», ставши еще менее, чем прежде, восприимчивым к «полным святыни словесам» безупречной Наставницы, еще более «дичась ее советов и укоров». Обольстительные «кумиры сада» сделали свое дело: на ясную дотоле душу они бросили тлетворную тень, тень соблазна и греха.

Нельзя, мне кажется, разительнее и пластичнее изобразить кризис молодой души, первое сладкое и грозное предчувствие грядущих страстей с их бурными восторгами и горькими разочарованиями! И все это рисуется на общем фоне расширения познаний жизни в разных направлениях: природа, искусство, культура в ее представителях открываются перед его удивленными глазами, наводят «сладкий некий страх» на его сердце и вызывают первые «слезы вдохновенья». В образе таинственного сада, с его мраморными, но животрепещущими чудесами — кумирами — и «великолепным мраком» поэт гениально представил, в художественном синтезе, процесс обогащения юной души впечатлениями житейского опыта со всеми его последствиями — светлыми и темными.

Три новых терцины, конечно, не заканчивают отрывка, но они дают путеводную нить для понимания дальнейшего замысла поэта. Возникает вопрос: в каком же направлении думал Пушкин продолжать свой рассказ? Трудно представить, чтобы мятежное настроение юноши, так ярко изображенное в последних трех новых терцинах дошедшей до нас части, могло быстро сойти на нет и смениться безусловным подчинением высокому авторитету величавой жены, Наставницы и Руководительницы, воплощающей истинную Жизненную Мудрость в благороднейшем смысле слова. Если и раньше он «внимал в ее беседы мало», смущаясь «строгою красой» ее возвышенного облика и «полными святыни словесами» и «про себя превратно (вар.: лукаво) толковал понятный (вар.: глубокий) смысл правдивых (вар.: духовных) разговоров»,[1] то возможно ли, чтобы теперь, почти хлебнув, хотя еще только в мечтах, из упоительного кубка наслаждений, он стал податливее, сговорчивее и внимательнее к предостережениям? Similia similibus curantur. Только личный опыт, только поглощение упоительной влаги этого кубка могли образумить и дать возможность усмотреть горький осадок на дне.

Поэтому в последующей части, третьем акте задуманной психологической драмы, Пушкин неизбежно должен был, как мне кажется, представить, в столь же лаконически-концентрированной картине, Wanderjahre своего героя, его Sturm und Drang, его отдание себя в полную власть как «Дельфийскому идолу», полному «гордости ужасной», так и другому «волшебному демону», — «женообразному» и «сладострастному». И этот третий акт, думается мне, не был бы последним: к нему должны бы были присоединиться четвертый, имя которому Раскаяние, и может быть, пятый — Искупление, как завершение и примирительный аккорд.

Собственный житейский опыт поэта, достаточно ярко выраженный в его творчестве, ручается как будто за это. Тема эта внутренне была очень близка Пушкину. Несколько его стихотворений находятся в явной духовной связи с разбираемым отрывком. Таково незаконченное стихотворение 1823 г., являющееся прелюдией к «Демону» того же года:

Мое спокойное незнанье
Страстями (демон) возмущал,
И я его существованье
С своим невинным сочетал.
Он обещал...
Истолковать мне все творенье
И разгадать добро и зло...
Непостижимое стремленье
Меня к лукавому влекло...
И стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его пояснными словами
Моя душа звучала в лад...[2]

---

[1] Приводимые здесь варианты взяты из рукописи № 51 Майковского собрания.
[2] Акад. изд. III, 318—319.

Эти стихи являются как бы комментарием к образу «Дельфийского идола» нашего отрывка. То же самое можно сказать, в некоторой степени, и о самом знаменитом стих. «Демон». Все впечатления «юноши» нашего отрывка в «таинственном саду» от природы, искусства, культуры и «чудесных» изображений двух бесов, влекших к себе «волшебною красой», вспоминаются, когда читаешь общеизвестные строки:

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осени,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи...

Здесь поклонение «Дельфийскому идолу», духу гордыни, самомнения и скептицизма изображается как пережитый уже, преодоленный факт; в нашем отрывке — это поклонение совершается перед нами во-очию, в момент начинающегося торжества искусителя в душе поэта, и притом в ярких конкретных образах. В этом особенная ценность отрывка.

На ряду с разочарованием в «Дельфийском идоле» шло в жизненном опыте Пушкина отчуждение и от другого — «волшебного демона, лживого, но прекрасного» — демона чувственных наслаждений, которыми были отравлены его

Мятежной младостью утраченные годы.

Нота раскаяния, горького сожаления, самобичевания часто звучит у Пушкина. Считаю достаточным сослаться на изумительное по искренности и глубине «Воспоминание» (1828):

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень,
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих стенах
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды...

В мировой литературе мало найдется подобных потрясающих лирических излияний, такого чистосердечного и исчерпывающего выражения жгучего раскаяния, такого проникновенного и беспощадного самоанализа. Опять вспоминается «il gran padre Alighieri», автор величайшей в мире поэмы раскаяния и нравственного очищения. Снова приходит на ум не раз упомянутая сцена «Чистилища» (XXX и XXXI песни). Но роли там разделены. «Змеи сердечной угрызенья», испытываемые поэтом, вложены в уста неумытной обличительницы Беатриче, которая «длинный развивает свиток» его прегрешений. На долю Данте остается только пластическое выражение того могучего воздействия, которое производит на него речь обличения:

Как дети малые, стыдом объяты,
Стоят и взоры опускают в землю,
Раскаясь в том, что сделано когда-то,

Так я стоял . . . . .
. . . . . .

Так жгла меня раскаянья крапива,
Что всё, чего я жаждал паче,
Мне ненавистно сделалось и лживо.

Подавленный сознаньем, от плача,
Я пал, — и как я встал, то ей известно,
Меня поднявшей сил к тому подачей.

(п. XXXI, ст. 64—67, 88—90. Пер. Н. Голованова).

Входило ли в план Пушкина поставить вновь своего юношу перед лицом Величавой жены, как блудного сына, возвращающе-

гося в отеческий дом, — сказать трудно. Но вряд ли можно думать, чтобы этот дивный образ, однажды появившись, должен был исчезнуть в дальнейшем течении символического повествования.

Основанное на непосредственных житейских переживаниях, стихотворение Пушкина вырастает до общечеловеческого значения. Это превосходно выдержанный в дантовских тонах, гениальный вариант очень старого, но никогда не умирающего и вечно действенного мотива, никогда не теряющего остроту для нравственного сознания человека. Процесс нравственного очищения человеческой личности, тернистый путь от заблуждений и греховности к истине и совершенствованию, изображенные так проникновенно в «Божественной Комедии», отражаются, «как солнце в малой капле вод», в этом, к сожалению, незаконченном наброске, достойном «великого отца Алигиери».

III.

Изумительно выдержан дантовский стиль и в «Подражании Данту» (1832), представляющем, к сожалению, также лишь отрывок. Это вовсе не перевод из Данта, как думал Белинский, а оригинальные вариации на дантовские темы из «Ада». Наш поэт как бы состязается с великим флорентинцем в изображении новых видов адских мучений, яркою кистью набрасывая картину загробных мук ростовщика и двух, неизвестно в чем повинных сестер, которых истязают бесы на стеклянной горе, «растрескавшейся колючими звездами» от пущенного по ней раскаленного ядра.

С первых же строк Пушкин переносит нас в атмосферу дантовского «Ада»:

1. И далее мы пошли — и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.

2. Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеной ростовщик.

У Данта ростовщики мучатся в последнем отделе седьмого круга (п. XVII): они сидят на самом краю скалы, спускающейся к восьмому кругу, где наказываются обманщики, предатели и изменники. Раскаленный песок жжет их члены, а сверху обжигают их языки пламени:

В очах их зрелась страшная тоска;
То там, то здесь руками тушат духи
То пыл огней, то жгучий жар песка.

Так летом псы, в дни тяжкие засухи,
То рылом чешут, то ногой, где их
Кусают блохи, оводы иль мухи.

Я заглянул в лицо тоской иных,
На коих тлели хлопья огневые;
Но никого не мог признать из них.

За то у всех заметил я на вые
Мешки, имевшие свой герб и цвет;
В гербы впивались взоры их немые.

(Ст. 46—57. Пер. Д. Мина).

Все они потеряли, как и скупцы, подчиняясь своей страсти к золоту, индивидуальный облик, собственное выражение лица. Только по гербам их денежных мешков можно догадаться, кто они такие.[1]

Пушкин наказывает ростовщиков сильнее, — вероятно, потому, что лично очень страдал от ваимодавцев. Но идея заставить ростовщика жариться, как на вертеле, заимствована, повидимому, Пушкиным у того же Данте. Наш поэт опускает, так сказать, ростовщика в следующий, восьмой круг, где мучатся самые тяжкие грешники и где наказания ужаснее. В пятом рву восьмого круга (п. XXI и XXII) мучатся лихоимцы: они погружены в озеро кипящей смолы, откуда тщетно пытаются выплыть, так как бесы баграми вновь погружают их на дно. С размаха бросает бес в озеро «старшину святыя Зиты» (т. е. г. Лукки):

Тот в глубь нырнул и всплыл, облит смолой,
А демоны из под скалы висячей
Вскричали: — «Здесь иконы нет святой!

«Не Серкьо[2] здесь; тут плавают иначе!
Так если знать не хочешь наших нил,
Чур, не всплывать из-под смолы горячей».

И сто багров в него всадили в тыл,
Вскричав: «Пляши, где вар сильней вскипает,
И если можешь, надувай других!»

Так поваренков повар заставляет
Крючками мясо погружать в котлы,
Когда оно поверх воды всплывает».

(п. XXI, ст. 46—57. Пер. Д. Мина).

[1] Дантовский тип ростовщика нашел себе некоторое отражение у Пушкина и в другом месте. Ср. мою «Заметку о „Скупом рыцаре“» и «Сборнике статей в честь академика А. И. Соболевского», Ленинград. 1927.

[2] Серкьо — река, протекающая вблизи Лукки.

Такое сравнение, может быть, и навело Пушкина на мысль превратить бесенка в повара, который жарит ростовщика на вертеле («крутил... у адского огня»). У Байрона в сатире «Видение Суда» встречается подобная же картина адских мучений:

Белиал,
На службе дня, вертел свой вертел плавно
И жиром Фокса Питта поливал.

(Пер. Балтрушайтиса).

Совершенно в Дантовских тонах продолжает Пушкин:

А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»

8. Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имек всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик

4. И их безжалостно крутил на вашем свете».

У Данте наказание всегда соответствует преступлению; этот принцип, как видим, выдерживает и Пушкин.

Но состязаясь с Данте, наш поэт, и данном случае, и пародирует его. Восприимчивый к высокой духовности «Чистилища», он менее, повидимому, склонен был сочувствовать — грубому подчас реализму «Ада», своею чрезмерною конкретностью иногда оскорбляющему более спиритуалистические представления о загробном мире. Мучения ростовщика рассказаны совершенно в Дантовском стиле, но намеренно преувеличенном, парадоксальном, утрированном, чтобы произвести комическое впечатление:

Тут грешник жареный протяжно возопил:
«О, если б я теперь топул в холодной Лете!

5. «О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
«Сто на сто я терплю: процент неложной!»
Тут звучно лопнул он — и взоры потупил.

6. Тогда услышал я (о диво!) запах скверной,
Как будто тухлое разбилось яицо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной,...

7. И нос себе зажал, отворотив лицо.

Этот «жареный» грешник, не перестающий и на том свете высчитывать проценты, этот «запах скверный», который он распространяет, «лопаясь»,[1] этот внезапно появляющийся в воображении читателя «карантинный страж», всем хорошо знакомый по холере 1830 г. — все эти черты не рассчитаны, конечно, на то, чтобы поддержать величавое и жуткое настроение Дантовского «ада», а напротив того, преследуют цели шутки и смеха.

Сам Данте не лишен совершенно этого последнего элемента. Согласно со средневековою традицией, он не прочь изредка представить бесов в комическом виде, особенно, как раз в XXI и XXII песнях, где рассказывается о мучениях лихоимцев. Здесь представлена сцена ссоры двух дьяволов из-за одного грешника, которого каждому из них хочется заполучить в свои когти: грешник изловчается и прыгает в смолу, а бесы, не рассчитав своих движений, попадают неожиданно туда же и оказываются в очень неприятном положении.

O tu che leggi, udirai nuovo ludo!
Внемли, читатель, какой вышел смех! —

предупреждает Данте, приступая к рассказу об этой комической сцене.

Но такие случаи у него очень редки. В его величественной поэме они играют роль не бо́льшую, чем те гротескные фигуры химер и разных смехотворных животных, которые нерелко бывают вкраплены в мраморное кружево готических соборов, ничуть не нарушая их возвышенного стиля, а, напротив, еще более оттеняя его.

Пример пародии на «Божественную Комедию» мог дать Пушкину Ариосто в XXXIV песни «Неистового Роланда», где, в самых легких и игривых тонах, описывается путешествие рыцаря Астольфо в ад и рай. Озаренная всем ореолом поэзии Франческа да Римини осуждена у Данта на вечные муки за то, что изменила мужу и отдалась преступной любви. У Ариосто Лидия, дочь царя Лидийского, попадает в ад, напротив, за то, что осталась холодна к своему поклоннику: в густом дыму она пребывает, «похожая на висящий труп, иссушенный солнцем». В рай Астольфо прилетает на гиппогрифе, которому дают в изобилии превосходного овса, а самому

[1] Судьба Пушкинского ростовщика напоминает памфлет Ульриха фон Гуттена «Bulla vel bullicida» («Булла или ее убийца»), в котором опшетворенная папская булла лопается и заражает воздух миазмами. У Пульчи в его поэме «Morgante Maggiore» лопается от смеха оруженосец Моргапта — Маруть.

паладину «подали таких сладких фруктов, что он нашел достойным извинения грех наших прародителей» и т. д.

Пушкин как будто задался целью показать, как легко, идя по пути излишней конкретизации духовных представлений, впасть в карикатуру, в гротеск, и тем, думается мне, он искусно подчеркивает чувство меры у Данта, его художественный такт, его умение всегда подчинять читателя своему настроению и не вызывать непрошенной улыбки на устах. Таким образом, пародия служит здесь целям не осмеяния, а возвеличения поэта. Сам «взыскательный художник», он не мог не ценить в итальянском собрате великое умение подчинять себя истинным требованиям искусства, что́ он прекрасно выразил в стихе:

Non mi lascia più ir lo fren dell'arte.
Узда искусства не даст мне идти далее.
(«Purgatorio», XXXIII, 141).

Первый отрывок «Подражания Данту» оканчивается стихами:

Но мудрый вождь тащил меня всё дале, дале.
И камень приподняв за медное кольцо,
8. Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале...

Так, у Пушкина, происходит спуск из *седьмого* в *восьмой* круг ада, т. е. необычайно просто, как спускаются в погреб, приподнимая прикрывающий его затвор. Совершенно иначе обстоит дело в «Божественной Комедии»; Данте с Виргилием переносятся в восьмой круг, отстоящий далеко от седьмого, на спине громадного чудовища Гиерона:

Как я сробел, когда со всех сторон
Узрел себя в воздушном океане,
Где виделся глазам один дракон.

Он тихо, тихо плыл, кружась в тумане
И нисходя; но я лишь ощущал,
Как ветр в лицо и вниз мне дул в буране.
(«Ад», п. XVII, ст. 112—117. Пер. Д. Мина).

Это воздушное путешествие на спине дракона подчеркивает грандиозность ада и его необычайность во всех отношениях. У Пушкина, напротив того, получается впечатление чего-то самого обыденного и заурядного: приподнял крышку — и очутился в подвале, — вот и восьмой круг. К такому приему опрощения всего

сверхъестественного, величественного и непостижимого часто прибегает и Ариосто. У него, например, парки, распоряжающиеся судьбою человека, изображаются почти как простые итальянские крестьянки, разматывающие клубки разноцветной шерсти («Orlando furioso», canto XXXIV).

Этот последний штрих вполне последовательно замыкает Пушкинский отрывок, весь выдержанный в тонах пародии.

Менее пародийного замысла во втором отрывке:

1. Тогда я Демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной —
И Бесы тешились проклятою игрой.

Раскаленное ядро из чугуна пускают они по стеклянной горе:

Ядро запрыгало — и гладкая гора,
Звеня, растрескалась колючими звездами.

Никакого намека на подобный выразительный образ у Данте не имеется, как нет намека и на всё то, что следует далее:

5. Схватили под руки жену с ее сестрой,
И заголили их, и вниз пихнули с криком —
И обе, сидючи, пустились вниз стрелой...

6. Порыв отчаянья я видел в их вопле диком,
Стекло их резало, впивалось в тело им —
А Бесы прыгали в веселии великом.

7. Я издали глядел — смущением томим.

Если второй отрывок составляет непосредственное продолжение первого (а это, повидимому, так) и если верны приведенные выше соображения о переходе, по замыслу Пушкина, из седьмого круга в восьмой, — то это даст возможность, хотя приблизительно, определить вину этих сестер, подвергаемых такому жестокому наказанию. В первом рву восьмого круга мучатся посредники в любовных делах (сводники) и соблазнители. За их нагими тенями гоняются бесы, нещадно бичуя их:

Меж серых скал я видел, здесь и там,
Чертей рогатых: их бичи и плети
Жестоко били грешных по хребтам.
(п. XVIII, ст. 34—36. Пер. Д. Мина).

Для такого рода грешников Пушкин придумывает иное, и более жестокое, наказание, как бы состязаясь с Данте в изобретении новых видов адских мук.

Этот отрывок похож на памфлет на определенных лиц. Повидимому, он находится в связи с какими-то неприятными переживаниями Пушкина, в которых были замешаны те, кого он называет «жена с ее сестрой». Только тонкие знатоки Пушкинской биографии могут взяться за разрешение этого вопроса.

Первый из отрывков, озаглавленных «Подражание Данту», представляет из себя вполне законченное художественное целое, являясь мастерски обработанным эпизодом, который исчерпан в 22 стихах. Второй отрывок, такого же эпизодического содержания, как будто не доведен до конца. Если бы Пушкин захотел воспроизвести манеру Данта до конца, он мог бы прибегнуть к обычному у того приему: расспросу грешников для лучшей характеристики их. Он этого, однако, не делает. Как будто автобиографичность, интимность темы мешает ему поступить так, — он ограничивается словами:

Я издали глядел — смущением томим.

Стиль Данта выдержан Пушкиным так неподражаемо и пародия проведена так тонко, что некоторые критики, признавая «пародийный замысел», склонны, и не без основания, находить, в конечном счете, в этих отрывках (в особенности — во втором) «картину превосходную, исполненную величия и ужаса».[1]

Памятник Данту во Флоренции украшен изваяниями орла, прекрасно символизирующими высокий полет его сурового и глубокомысленного гения, занятого величайшими вопросами жизни и смерти. Очень характерно для Пушкина, что, говоря о состоянии вдохновения, он прибегает к тому же символу:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Высокое парение было доступно и гению Пушкина. Нередко затрагивает он в своем творчестве глубокие, этические, так сказать, «Дантовские» темы. На обработке их лежит какая-то неуловимая

[1] Ср., напр., П. В. Анненков, «Материалы для биографии Пушкина», С.-Пб. 1873, стр. 391.

печать Дантовской серьезности, глубокомыслия и выразительной краткости. И это роднит его гений с гением Данте.

Но наш великий поэт, может быть, многостороннее Данта, — его талант гибче, его отзвуки еще разнообразнее и богаче оттенками. «Пушкин, Протей, гибким своим языком и волшебством своих песнопений» (по выражению Гнедича) — умеет понять и воссоздать, при случае, не только сумеречный мир «сурового» Данта, великого провидца и глашатая высоких тайн, но и проникнуть в меланхолическое настроение нежного певца Лауры, Петрарки, воздать должное веселому и остроумному стилю Боккаччьо, оценить свободный полет крылатого воображения у жизнерадостного эпикурейца и скептика Ариосто, — первородного сына светлого, ликующего, солнечного Возрождения, и, наконец, прочувствовать важность и плавность «торкватовых октав».

Отношениям Пушкина к итальянским поэтам эпохи Возрождения и последующего времени будут посвящены особые этюды.

Матвей Розанов.

ЛЕГЕНДА О СТИХАХ ЛЕНСКОГО

(ИЗ РАЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ ПУШКИНСКОГО ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА)

1.

В черновой Кишиневской тетради Пушкина (по описи б. Московского Румянцовского Музея, № 2369),[1] отдельные листы которой им заполнялись между 1822 и 1824 гг., сохранились исчерканные наброски двух недовершенных произведений, опубликованных впервые П. В. Анненковым в 1855 году.

Восстановляя в своих «Материалах для биографии Пушкина» историю создания «Евгения Онегина» и поэтому с особым вниманием относясь к отброшенным впоследствии строфам начальных глав, П. В. Анненков тщательно отмечал все следы «живого участия» и повышенного интереса Пушкина ко второму персонажу романа.

[1] Тетрадь № 2369, описанная В. Е. Якушкиным («Русская Старина» 1884 г., VI), определяется как Кишиневская по росчеркам на внутренней стороне ее переплета: *27 мая 1822. Kischinev. Pouschkin, Alexeef, Пушкин.* К этой отметке на переплете приурочивалось и время заполнения тетради, при чем, в виду того, что большая ее часть несомненно использована была лишь по оставлении Кишинева, в Одессе, к 1822 году приходилось относить лишь не имеющие внутренних дат листы начальные. Однако, с каждым новым исследованием манускрипта число произведений, относимых к 1822 году, всё более и более в нем сокращалось и ныне только записи первых четырех листов (на сохранившихся 51-го) могут условно связываться со второй половиной 1822 г. — первыми месяцами (до мая) 1823 г. Ср. П. Е. Щеголев, «Заметка к тексту Пушкина» («Пушкин и его современники», 1910, в. XIII, 163—179) и «Пушкин. Очерки» (1912, стр. 89, 130). Тем не менее, отказ от традиционной датировки набросков Кишиневской тетради не всегда выдерживается до конца и в новейших изданиях Пушкина. Ср. «Сочинения Пушкина», изд. Акад. Наук, т. III, 1912, где «примечания» П. О. Морозова то противоречат Якушкинскому распределению текстов в этом же томе, то неожиданно поддерживают его (стр. 239, 242), и А. С. Пушкин, «Полное собрание сочинений» под ред. В. Я. Брюсова, т. I, М. 1920, стр. 194, 211.

«Ленский, как известно, читал Онегину отрывки Северных поэм;

И снисходительный Евгений,
Хоть их немного понимал,
Прилежно юноше внимал.
(Глава 2, строфа 16).

«В рукописях находим, что вместо этих последних стихов Пушкин вздумал приложить и образчики самых поэм, в двух отрывках, которые уже покидали стихотворный размер, принятый для Онегина, и выходили из рамы, так сказать, самого романа. Оба отрывка ничто иное, как шуточное подражание Макферсону,—роду поэзии, к какому особенно склонна была муза Ленского, по мнению Пушкина. Они, разумеется, недописаны, лишены во многих местах необходимых стоп и походят скорее на заметку в стихотворной форме, чем на стихотворения:

Придет ужасный миг... Твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста —
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду печально за тобой
И сяду близь тебя, недвижный и немой....

Далее нельзя разобрать. Так точно и во втором отрывке можно сберечь только несколько стихов:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа
Могилу пережив, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны —
Клянусь! давно бы я покинул грустный мир....
.....
Узнал бы я предел восторгов, наслаждений,
Предел, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте:
Но тщетно предаюсь пленительной мечте!
.....
Мне страшно... и на жизнь гляжу печально вновь
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой! *

* Не нужно указывать читателю, что этот отрывок есть карикатура на Макферсоновского Оссиана и видимо написан с целью осмеять все подобные философствования. [*Прим. П. В. Анненкова.*]

«Оба отрывка содержат, как видно, пародию на тяжелые шестистопные элегии, бывшие некогда в моде, и вместе лукавую насмешку над туманными произведениями Ленского. Замечательно, однакож, что точно в таком же духе есть несколько лицейских стихотворений самого Пушкина, так что он мог набросать свои отрывки по одному воспоминанию. Читатель вероятно уже заметил, что поэт наш сообщил отрывкам Ленского, — полагаем, не без намерения, — искру чувства и души и тем отличил их от подражаний другого рода, столь же тяжелых и притом лишенных уже всякой теплоты, от подражаний Анакреонтических, какие являлись у нас вместе с Осиановскими элегиями и какими также обнаружилась впервые авторская деятельность самого Пушкина. Не без удивления видим мы вместе с тем, что Пушкин гораздо позднее возвратился к стихам Ленского и взял от них отчасти мысль, которая является в знаменитой пьесе: «Безумных лет угасшее веселье».

Но не хочу, о други, умирать ...
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

но уже какое необъятное пространство лежит между первым опытом Ленского и последней формой, данной его мысли Пушкиным в 1830 году.

«Прибавим, что оба приведенные отрывка, набросанные в самом ходу сочинения, заменены в XVI строфе шестью стихами, но что поэт наш только в VI главе (строфа XXI), перед дуэлью Ленского, решился дать новый, настоящий образчик поэзии его. Это уже романтическая, журнальная элегия двадцатых годов, писанная ямбами, как и Онегин».[1]

Текст опубликованных П. В. Анненковым набросков, равно как и комментарий к ним не вызвал никаких сомнений и без перемен перешел в полные собрания сочинений Пушкина. Так, Гр. Геннади в «Приложениях к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым, С.-Пб. 1860» воспроизвел на стр. 55—57 оба отрывка под взятым в скобки заголовком «Ленский и его стихотворения», а в 1869 г., во втором редактированном им издании, перепечатал тот же текст в примечаниях к «Онегину» («Полн. собр. соч. Пушкина», т. III, стр. 326—328). В 1873 г. переизданы были П. В. Анненковым без изменений «Материалы для биографии Пушкина»,[1] а в 1874 г., вне какой бы то ни было связи с ними, во второй книге «Русского Архива» появились «Неизданные стихи А. С. Пушкина», представлявшие собою ничто иное, как исправленный и дополненный ранее пропущенными строками текст второго из Анненковских отрывков «Стихов Ленского».[2] Редакционная отметка «Записаны и сообщены М. В. Юзефовичем» происхождения этого текста по существу, однако, не разрешала, а потому при его перепечатке в 1876 г. в известном своде Н. В. Гербеля «Для будущего полного собрания сочинений А. С. Пушкина» была отброшена, но никаким иным указанием (хотя бы на то, что бо́льшая часть произведения давно известна) не заменена.[3] Сопоставление «записи» М. В. Юзефовича с текстом П. В. Анненкова сделано было только в 1880 г. новым редактором Пушкина — П. А. Ефремовым, который, отметив, согласно традиции, «стихи Ленского» в ряду «строф, не вошедших в поэму, и черновых набросков», восстановил в отрывке «Надеждой сладостной младенчески дыша» и четыре стиха, обозначавшиеся прежде рядами точек.[4] Между тем в том же 1880 г., в воспоминаниях М. В. Юзефовича о встрече

[1] П. В. Анненков, «Материалы для биографии А. С. Пушкина» («Сочинения Пушкина», т. I, С.-Пб. 1855, стр. 327—329. Ср. отдельное издание: «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений» П. В. Анненкова, С.-Пб. 1873 г., стр. 318—320.

[1] В новом издании, помимо введения отсутствовавшего прежде разделения основного текста на главы, изменения коснулись лишь приложений к книге: вместо портрета Пушкина, грав. И. Уткиным, в 1873 г. были даны воспроизведения «модели памятника А. С. Пушкина, находящейся в Конференц-Зале Александровского Лицея» и «Могилы А. С. Пушкина при монастыре Святогорском»; что же касается снимков с автографов, то рисунки Пушкина, занимавшие прежде три отдельных листа (5, 6, 7), объединены были на одном, при чем к ним там же добавлены были ранее не известные в печати изображения «Старого Бесан» и «Бесенка» (из «Сказки о Попе и работнике его Балде»), но исключены надписи верхней части прежнего VII листа: «Драматические сцены. Драматические очерки. 1830».

[2] «Русский Архив» 1874, т. II, стр. 222. Сравнительно с текстом П. В. Анненкова: стих 3 — «От тленья убежав»; ст. 5 — «оставил этот мир»; ст. 6 — «Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир»; ст. 7 — «И улетел в страну свободы, наслажденій»; ст. 8 — «В страну»...; ст. 9 — «(одна) плывет»; ст. 10 — «обманчивой (мечте)»; ст. 11 — «Мой ум упорствует, надежду презирает»...; ст. 12 — «Ничтожество меня за гробом ожидает»...; ст. 13 — «Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!»; ст. 14 — «(лежу) печален». Между стихами 9-м и 10-м пробел.

[3] «Русский Архив» 1876, III, стр. 225—226. В конце стиха 9-го, очевидно, опечатка: «предубеждений» вместо «предрассуждений».

[4] «Сочинения А. С. Пушкина», изд. 3-е, исправленное и дополненное под ред. П. А. Ефремова, т. III, С.-Пб. 1880, стр. 192. На стр. 437 неверная ссылка на «Русский Архив» 1870 г., как на источник исправлений «стихов Ленского».

с Пушкиным «на боевых полях Малой Азии» в 1829 г., появилось чрезвычайно ценное разъяснение некоторых обстоятельств записи занимающего нас произведения: «С Пушкиным был походный чемодан, дно которого было наполнено бумагами. Когда речь зашла о прочтении нам еще ненапечатанных *Бориса Годунова* и последней песни *Онегина*, он отдал брату Льву и мне этот чемодан, чтоб мы сами отыскали в нем то, чего нам хочется. Мы и нашли там тетрадь *Бориса Годунова* и отрывки *Онегина*, на отдельных листиках. Но мы этим разумеется не удовольствовались, а пересмотрели всё и отрыли, между прочим, прекрасный, чистый автограф *Кавказского Пленника*... Там же мы нашли неизвестную еще тогда прекрасную элегию: «Надеждой сладостной младенчески дыша», которую Анненков, не знаю почему, принял за стихотворение, назначавшееся для Онегина, как написанное Ленским. Но размер элегии нисколько не подходит к строфам Онегина; да и Пушкин, вероятно, указал бы нам на такое ее назначение, так как он объяснял нам довольно подробно всё, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Кроме того, в издании Анненкова, в числе многих прочих, сделана и в этой элегии большая ошибка: лучший в ней стих

И мысль одна плывет в небесной чистоте,

напечатан:

И мысль одна течет в небесной чистоте.

«Может быть, в какой-нибудь черновой Пушкина и было так; но в этом экземпляре, который был у меня в руках и с которого я списал себе копию, сказано плывет, а не течет. Разница в смысле этих слов, особенно в художественном выражении мысли, большая».[1]

Разрешения многих из восходящих к изданию 1855 г. недоумений как текстового, так и биографического порядка обещала несколько запоздавшая статья П. В. Анненкова в первой книжке «Вестника Европы» за 1881 г. под заглавием «Любопытная тяжба». Посвященная истории необычайно затрудненного проведения сквозь цензурные рогатки в печать посмертного Пушкинского текста, она заключала, между прочим, чрезвычайно ценное

[1] «Русский Архив» 1880, III, стр. 441—443.

общее признание: «Составитель материалов для биографии Пушкина и примечаний к его произведениям... знал, при какой обстановке и в каких условиях он работает, и мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного влияния враждебных сил. Оно так и было. *Не трудно указать* теперь на *многие места* его биографического и библиографического *труда*, где видимо отражается страх за будущность своих исследований и *где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения от его выводов и сообщений*». Несмотря на то, что, как свидетельствует сам П. В. Анненков, представленный им в цензуру текст «Материалов» предварительно был уже «очищен» от всего «сомнительного» и снабжен предохранительными «пояснениями», С.-Пб. Цензурный Комитет многое не счел возможным допустить к опубликованию. В официальном индексе запрещенных текстов оказались и так называемые «стихи Ленского», обозначенные цензором как «Отрывки о бессмертии души». Потребовались специальные «объяснения издателя» в защиту каждого из намеченных к исключению мест, при чем в статье «Любопытная тяжба» П. В. Анненков восстановил и свой явно *вынужденный* официальный «комментарий» к наброску, в котором особое внимание цензора привлекли следующие «предосудительные» строки:

1. *Надеждой сладостной младенчески дыша,*
2. *Когда бы верил я, что некогда душа...*
3. *Но тщетно предаюсь пленительной мечте...*

«Стихи эти» — объяснял С.-Пб. Цензурному Комитету П. В. Анненков — «представлены Пушкиным как образец тяжелых, нелепых Оссиановских стихов, какими занимался Ленский — действующее лицо в *Онегине*. Они написаны с целью пародировать и предать насмешке подобные философствования, а не с целью выставить их на показ, что и сам он объясняет далее. Для ослабления всякой, самой легкой двусмысленности в них следует, может быть, выпустить первый стих и всю пьесу начать со второго».

Это место из старой своей «записки» П. В. Анненков сопроводил в 1881 г. следующим замечанием: «В «Материалах для биографии Пушкина», 1855, эта пьеса, дозволенная к печатанию без выпусков, сопровождается тоже примечанием («Сочинения Пушкина», 1855, т. I, стр. 328), повторяющим сполна доводы «объяснения». Предложение издателя выпустить первый стих, оказав-

шееся не нужным, видимо сделано было для того, чтобы сохранить отрывку какой-либо смысл, потому что с устранением 3-х стихов (они подчеркнуты в оригинале), как предлагал г. цензор, весь отрывок превращался в чистейшую бессмыслицу. В этом случае, как и в других, ему подобных, происходило нечто сходное с выбрасыванием за борт части багажа для спасения корабля, одолеваемого бурей. Сравнение рисует также и положение литературы того времени».[1]

В том же 1881 г., когда печаталась статья П. В. Анненкова, П. И. Бартенев в «Русском Архиве»,[2] а затем в «Бумагах Пушкина» (вып. I, стр. 138—139) предложил новое чтение черновой страницы Кишиневской тетради с так называемыми стихами Ленского, но без упоминания самого имени последнего (отклик сомнений М. В. Юзефовича?) и без каких бы то ни было вообще пояснений. В связи с этим, П. А. Ефремов, повторяя в своих «Библиографических примечаниях» к «Онегину» в изд. 1882 г. (т. III, стр. 427—429) текст 1880 г., снабдил его лишь новым заголовком — (*Образцы стихов Ленского*), — а рядом счел необходимым воспроизвести и чтение Бартенева, как якобы первоначальное. В 1882 г., на основании Ефремовского текста второй из элегий Ленского, А. И. Незеленов в известной монографии «А. С. Пушкин и его поэзия» сделал несколько заключений, впервые по существу разошедшихся с Анненковской их трактовкой: «Насколько Пушкина мучили скептические вопросы о Провидении, вдохновении, о загробной жизни, о любви, о прекрасном и т. д., видно из того, что свои сомнения он приписал даже Ленскому, образ которого создавал в это время. Во Второй главе романа были примеры стихотворений Ленского, впоследствии исключенные поэтом; между прочим в одном из них Пушкин заставляет своего героя высказывать глубокий скептицизм; это совершенно не вяжется с общим характером юноши-романтика и очевидно свидетельствует о том, что происходило в душе самого Пушкина».[3]

[1] «Вестник Европы» 1881, I, стр. 27—28 («Любопытная тяжба» перепечатана в изд. «П. В. Анненков и его друзья», С.-Пб. 1892, стр. 393—424). Замечание, что «эта пьеса» дозволена была к печатанию без выпусков, не совсем точно: П. В. Анненков сам предварительно устранил из рукописи четыре стиха, восстановленные, как было отмечено нами выше, М. В. Юзефовичем.

[2] «Русский Архив» 1881, I, стр. 226—227.

[3] А. И. Незеленов, «А. С. Пушкин и его поэзия. Первый и второй периоды жизни и деятельности», С.-Пб. 1882, стр. 156—158.

Эти интересные соображения, подкрепленные сопоставлением отрывка «Надеждой сладостной младенчески дыша» с некоторыми из близких ему по настроению произведений 1822—1823 гг., хотя и не заключали в себе отказа от традиционного приурочения обеих элегий, но совершенно не оставляли места Анненковским представлениям о «лукавой насмешке» Пушкина над «туманными произведениями Ленского» и пародийности всей композиции их, так называемых, «образцов».

В 1884 г. отмеченное выше предположение П. А. Ефремова о существовании двух черновых текстов «стихов Ленского» вызвало некоторые недоуменные замечания В. Е. Якушкина в его описании «Рукописей А. С. Пушкина, хранящихся в Румянцовском Музее в Москве». Так, определяя содержание листов 29 и 30 тетради № 2369 и отмечая крайнюю неточность Бартенева при воспроизведении им «неразборчивой черновой стихов Ленского», В. Е. Якушкин заключал: «В обоих случаях со стихами Ленского текст, сообщаемый г. Анненковым, настолько отличается от данной черновой, *что заставляет предполагать другой подлинник*. Впрочем, текст у г. Бартенева, несомненно списанный с этих черновых, отличается от них не менее, чем текст у г. Анненкова».[1]

В 1887 г. В. Е. Якушкин взял на себя редактирование «Евгения Онегина» в юбилейном издании Общества Любителей Российской Словесности; здесь, в «дополнениях» к основному тексту, посвященных «строфам, не вошедшим в роман, черновым наброскам, вариантам», он опубликовал в новой контаминации (с глухой ссылкой на «Ан., Р. Арх., Рук.») и *Образцы стихов Ленского*.[2] Отсутствие скобок в заголовке, пять неотделанных заключительных стихов в первом наброске от: «Лампада бледная твой труп осветит» до: «Чтоб силою мечтанья моего» и два варианта в 10 и 12 стихе второго наброска отличали Якушкинский текст от текста П. О. Морозова, поместившего в том же году «(Образцы стихов Ленского)» в подстрочном примечании к стр. XVI Второй главы «Евгения Онегина» в известном издании Литературного Фонда.[3]

[1] «Русская Старина» 1884, VI, стр. 562—563.

[2] Евгений Онегин. Роман в стихах А. С. Пушкина. Изд. Общ. Любителей Российской Словесности при Императ. Московском Университете, под редакцией д. ч. В. Якушкина, М. 1887, стр. 246—247.

[3] Сочинения А. С. Пушкина, под ред. и с объясн. примеч. П. О. Морозова, т. III, 1887, стр. 268—269.

Транскрипция В. Е. Якушкина и топография П. О. Морозова совмещены были в том же 1887 г. в четвертом томе «Сочинений А. С. Пушкина, с объяснениями их и сводом отзывов критики, изд. Льва Поливанова». Не ограничась произведенной таким образом перепечаткой, Л. И. Поливанов в своем введении к «Онегину» остановился на разборе самой тематики черновых «стихов Ленского». Развитие Незеленовского сопоставления одного из них с известными строками отрывка «Ты, сердцу непонятный мрак», где так проникновенно выражен тот же «бессильный ужас перед ничтожеством за гробом», позволило исследователю выдвинуть вновь интересный вопрос: «Чей же этот малодушный голос?» Правда, от Анненковского приурочения обоих набросков Л. И. Поливанов, как ранее и А. И. Незеленов, не рискнул отказаться и, подтвердив, что несомненно «здесь чувства Ленского близки чувствам самого поэта», он явное несоответствие известного нам художественного облика Ленского тематике приписанных ему стихов объяснил тем, что образ этот в творческом сознании Пушкина «двоился» и «отрывки своих поэм» Ленский должен был читать «очевидно уже встревоженный в своем блаженстве».[1]

Представляется весьма характерным, что безоговорочное после этого усвоение предложенного А. И. Незеленовым и Л. И. Поливановым корректива к общим заключениям П. В. Анненкова о художественной значимости «стихов Ленского»[2] последовало вне какой бы то ни было связи с позднейшими оговорками автора «Материалов для биографии Пушкина», необычайно важные признания которого в «Вестнике Европы» об условиях комментирования отрывка «Надеждой сладостной младенчески дыша» остались совершенно неучтенными как в современной им, так и во всей последующей Пушкинской литературе.

Со страниц комментированных изданий «стихи Ленского» перешли после 1887 г. во все «собрания сочинений» Пушкина и до наших дней являются в них непременной принадлежностью популярного текста «Евгения Онегина». Новые проверки Пушкинского текста могли только подкреплять традицию. Так, в 1903 г. в Сувори-

[1] «Соч. А. С. Пушкина, с объяснениями их и сводом отзывов критики», изд. Льва Поливанова, т. IV, М. 1887, стр. 30—31. Ср. стр. 198—199.

[2] Ср., напр., трактовку «стихотворений Ленского» в работе П. П. Дашкевича: «А. С. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени» («Киевские Университетские Известия» 1899, № 5, стр. 246. Перепечатано в издании «Статьи по новой русской литературе академика П. П. Дашкевича», II. 1914, стр. 316).

ринском издании «Сочинений А. С. Пушкина» П. А. Ефремов не остановился даже перед перемещением обоих набросков из примечаний в основной текст «Онегина», в котором неожиданно и появились «*Образцы стихов Ленского*», прервав течение XVI и XVII строф второй главы.[1]

Не приняв этой совершенно немотивированной редакционной новеллы, П. О. Морозов в 1904 г. в известном издании «Сочинений и Писем А. С. Пушкина» фирмы «Просвещение» почти не отступил от текста 1887 г., поместив неотделанные Пушкинские наброски в примечаниях к XVI строфе в следующем виде:[2]

(Образцы стихов Ленского).

I

Придет ужасный миг, — твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи;
Молчанье вечное твои сомкнет уста —
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где праведов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, недвижный[a] и немой...
Лампада бледная твой труп осветит,
Мой взор движенья не заметит;
Коснуся ног, к себе их на колени
Сложу и буду ждать .. чего?..
Чтоб силою мечтанья моего...

II

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав,[b] уносит мысли вечны,
И память, и любовь, в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:[c]

[1] «Сочинения А. С. Пушкина». Редакция П. А. Ефремова. Издание А. С. Суворина, т. VI, 1903, стр. 47—48. В основу своего текста П. А. Ефремов положил чтение В. Е. Якушкина, но для придания «образцам» более совершенного вида отбросил неотделанное окончание первого и освободил от «вариантов» второй. То и другое перенесено было в последний том редактированного им издания (т. VIII, 1903, стр. 484—485).

[2] «Сочинения и письма А. С. Пушкина», т. VI, СПб. 1904, стр. 308—309.

Варианты, отмеченные П. О. Морозовым: [a]) печальный; [b]) Могилу пережив; [c]) покинул мрачный мир;

Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,[1]
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте.
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...[A]
Как! Ничего! Ни мысль, ни первая[B] любовь!
Мне страшно... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Тайся и пылал в душе моей унылой!

Не оспаривая традиционного приурочения этих набросков и дважды — в 1887 и 1904 гг. — внеся их в редактированный им текст «Онегина», П. О. Морозов вновь подошел к «стихам Ленского» во время работ по подготовке порученного ему после смерти В. Е. Якушкина третьего тома академического издания «Сочинений Пушкина». Ближайшее ознакомление с рукописью заставило его на этот раз подвергнуть решительному пересмотру соображения П. В. Анненкова о происхождении черновых отрывков, обозначаемых с 1855 г. как «стихи Ленского». В 1912 г., предложив на стр. 353—355 примечаний к III тому академического издания новую их транскрипцию и тщательно обследовав все особенности содержания листов 29-го и 30-го автографа, Морозов пришел к заключению, что, во-первых, оба отрывка, «написанные в 1823 г., ранее 3 ноября, совершенно случайно оказались между черновыми строфами II главы Онегина»; во-вторых, что это «конечно, стихи не Ленского, которому приписал их Анненков просто по недоразумению или потому, что они не отвечали требованиям его эстетического вкуса, а самого Пушкина»; в третьих, что они «вовсе не карикатуры на подражателей Макферсона и не стихотворные «примечания» к второй главе Онегина, а совершенно самостоятельные произведения, отражающие в себе то настроение, которое в ту пору нередко овладевало нашим поэтом», и, наконец, в-четвертых, что они были «брошены в черновом виде и не получили обработки, вероятно, потому, что выраженные в них мысли и чувства уступили место другим, и поэт уже не в состоянии был, да и не находил нужным, настроить себя на прежний лад. Следовательно,

Варианты, отмеченные П. О. Морозовым: [1]) *Узнал бы я предел свободных наслаждений, Предел где смерти нет...*; [A]) Меня ничтожеством могила ужасает; [B]) новая.

этим отрывкам нужно отвести и самостоятельное место среди Пушкинских стихотворений 1823 г. и исключить эти мнимые «образцы» из примечаний к *Онегину*, куда они попали только по ошибке первого их издателя и по излишней доверчивости последующих».

Выводы П. О. Морозова были, к сожалению, слишком бегло и случайно аргументированы и, правильные по существу, легенду могли только поколебать, но не до конца уничтожить. Полемика с старыми показаниями П. В. Анненкова оказалась серьезно ослабленной в академическом издании еще тем, что самые нити идущей от «Материалов для биографии Пушкина» традиции не были П. О. Морозовым прослежены и с достаточной ясностью обнажены, что при разборе текста набросков и комментария к ним вся обширная литература вопроса осталась вне поля зрения исследователя, в некоторых положениях и сопоставлениях своих только повторившего поэтому о «стихах Ленского» давно известные соображения А. И. Незеленова и Льва Поливанова, не только не обосновав их новыми данными, но даже не подкрепив старые документальным материалом «Любопытной тяжбы» или отмеченным выше свидетельством воспоминаний М. В. Юзефовича.

Эти досадные дефекты новых «примечаний» П. О. Морозова привели к тому, что выводы его до сих пор не стали прочным достоянием пушкиноведения, и легенда о стихах Ленского воскресает не только в специальных исследованиях, но и в эдиционной практике. Так, в известном издании Брокгауз-Ефрона, в основной текст которого С. А. Венгеров вносил художественные замыслы Пушкина, нашедшие выражение хотя бы в 4—5 словах, оба элегических наброска 1823 г. даже не упоминаются, ибо редактор относит их в 1909 г. к обещанной к концу издания истории текста «Онегина», а комментатор — Н. О. Лернер, по тем же, вероятно, соображениям, в 1915 г. не находит возможным включить их в сделанный им для шестого тома общий свод «новых приобретений Пушкинского текста и дополнений». Все популярные издания Пушкина, как «полные собрания сочинений», так и особые выпуски «Евгения Онегина»,[1] продолжают перепечатывать «Образцы стихов Ленского» без всяких оговорок. Их поддерживает и исследовательская, и школьная традиция. В 1917 г., в третьем издании

[1] Ср., напр., «Евгений Онегин, роман в стихах, соч. Александра Пушкина», изд. А. С. Суворина, 1913, стр. 53 и 326.

своего популярного обзора «Литературные направления Александровской эпохи», акад. Н. А. Котляревский оставляет без перемен строки о «чувстве художественной меры, с каким пародированы образцово-сентиментальные стихи, которые Ленский читал Онегину из своих *северных поэм*» (стр. 331). В 1922 г. М. Л. Гофман, подобно предшественникам своим совершенно игнорируя Морозовские примечания, обозначает занимающие нас элегические наброски, как «Образцы стихов Ленского» и, ограничась знаком вопроса (в скобках) около заголовка, да замечанием, что «характер стихотворений, действительно, может подходить к стихам Ленского», дает полную их транскрипцию в своей монографии «Пропущенные строфы Евгения Онегина».[1] В. Я. Брюсов, единственный комментатор Пушкина, принявший Морозовскую гипотезу и поместивший «Наброски элегий» (I. «Придет ужасный миг» и II. «Надеждой сладостной младенчески дыша») среди «Незаконченных и необработанных стихов Одесского периода» в первом томе редактированного им в 1920 г. издания, в примечании неожиданно ссылается на прежнее их название «Образцы стихов Ленского», как на предположение, хотя и ни на чем, кроме топографии, не основанное, но «правдоподобное».[2] Безоговорочно цитируются «Образцы стихов Ленского» в относящейся к 1924 г.

[1] «Пушкин и его современники», вып. XXXIII — XXXV. П. 1922, стр. 60—64 и 44. Следует, однако, отметить, что М. Л. Гофман, предлагая полную транскрипцию обоих нас занимающих набросков, почему то не оговаривает, что им воспроизводится не сплошной текст автографа, а некоторая выборка из содержания двух листов, в которых так называемые элегии Ленского перемежаются не только строфами «Онегина», но и заметками в роде «Вечерни отошла. Монах» и т. д. Несколько странно и то, что, ссылаясь — для сравнения — на Морозовский текст «стихов Ленского» в изд. 1904 г., М. Л. Гофман не указывает, что в 1912 г., отказавшись от устанавливаемого прежде «окончательного текста» обеих элегий, П. О. Морозов предложил свою транскрипцию черновика, — в целом уступающую, правда, воспроизведению Гофмана, но местами дающую более точные конъектуры. Ср. «Сочинения Пушкина», изд. Акад. Наук, т. III, примечания, стр. 353—356.

[2] «А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. со сводом вариантов». Под ред. Валерия Брюсова, т. I. М. 1920, стр. 210. Восстанавливаемый В. Я. Брюсовым текст элегий и черновых вариантов к ним значительно отличается от текста его предшественников; особенно интересна (предположительная?) реконструкция 9—11 стихов первой элегии («Лампада бледная твой бледный труп осветит, Недвижимый мой взор движенья не заметит, Ни чувства нежного, ни гнева на лице») и два новых заключительных стиха второй: «Так, даже смертный час, неотразимой час, Мой друг, мой нежный друг, [пусть не] разлучит нас!».

работе Владислава Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» (стр. 59). Наконец, Л. П. Гроссман, в новейшем специальном исследовании, посвященном «Евгению Онегину», решительно выступает в защиту «старинной комментаторской традиции», определявшей элегии 1823 г., как «образцы стихов Ленского», и полагает, что осмысление это и впредь «не должно вызывать возражений».[1] Последний интерпретатор Одесских лирических фрагментов Пушкина полностью реабилитировал первого. Итоги, подведенные в 1924 г., возвращали нас к сентенциям 1855 г. Круг изучений элегических опытов Кишиневской тетради как будто бы замкнулся.

Таким образом все основания занимающей нас легенды должны быть вновь пересмотрены, ибо до тех пор, пока вопрос о стихах Ленского будет разрешаться субъективным приговором о той или иной степени правдоподобия Анненковского приурочения, ни одно из противоречивых положений старых и новых комментаторов элегических набросков 1823 г. не может быть усвоено критическим пушкиноведением и прочно войти в научный оборот.

2.

Одним из важнейших оснований традиционного приурочения элегических набросков 1823 г. явилось их положение в тетради № 2369 среди исчерканных строф второй главы «Онегина». Однако, как доказало Морозовское обследование всех особенностей содержания листов 29-го и 30-го рукописи, соседство это совершенно случайно и ни к чему не может обязывать. Отрывок «Придет ужасный миг» (л. 29_1) явственно отделен самим Пушкиным «тонкой чертой» от предшествующих ему «беспорядочно разбросанных и перечеркнутых слов», а набросок «Надеждой сладостной младенчески дыша» следует даже не за какой-нибудь из Онегинских строф, а за двумя зачеркнутыми в начале л. 30-го стихами, выражавшими совершенно неизвестный замысел («Вечерня отошла, Монах идет один по келье»), о связи которого с «Онегиным» говорить, конечно, не приходится, тем более, что вновь произведенное нами обследование всей тетради № 2369 только подтвердило отмеченные выше частные соображения П. О. Морозова: черно-

[1] «Пушкин. Сборник первый Пушкинской комиссии Общества Любителей Российской Словесности». Редакция Н. К. Пиксанова. М. 1924, стр. 156. Перепечатано без перемен в книге Л. Гроссмана «Борьба за стиль», М. 1927, стр. 114.

вой текст начальных глав романа нередко прерывался набросками нисколько от него не зависящих произведений как законченных, так и обрываемых на первых строках, и с тем же основанием, с каким приурочиваются к «Онегину» обе нас занимающие элегии, можно было бы включать в роман перемежающиеся со строфами «Онегина» отрывки «Кто, волны, вас остановил» (л. 9), «Завидую тебе, питомец моря смелый» (л. 12), «Всё кончено, меж нами связи нет» (л. 43_2) и т. д. и т. п.

Вторым доводом в пользу Анненковского приурочения обоих набросков являлась подразумеваемая на ряду с внешней—топографической — еще якобы внутренняя — чисто композиционная — связь их с «отрывками северных поэм», которые, как известно из XVI строфы романа, читал Онегину «в жару своих суждений» Ленский. Однако, все текстуальные данные о музе последнего решительно противоречат этому произвольному отожествлению. Как, например, совместить впечатления Онегина (стр. XV):

Он слушал Ленского с улыбкой
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству,

или свидетельство о том же VII строфы —

Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего.
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой;
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал —

с художественной концепцией того элегического наброска, где так проникновенно выражено отречение от «младенческих» надежд, где торжествует пессимистическое восприятие «этого мира», где жизнь обозначена, как «уродливый кумир», давно желанному сокрушению которого препятствует лишь уверенность в «ничтожестве» за гробом и т. д. Допустив даже связь этих трагических строк с известными из XVI строфы спорами о «предрассудках вековых» и «гроба тайнах роковых», следовало бы весь набросок «Надеждой сладостной младенчески дыша» принять за выражение некоторых сомнений самого героя романа — Онегина, а никак не его восторженного друга.

Точно так же, как и в разобранном только что отрывке, прямо противоречат известному нам поэтическому облику Ленского настроения наброска «Придет ужасный миг». Приписывать счастливому жениху, каким является Ленский в начале романа, переживания «любовника безотрадного» мы не имеем права не только в силу некоторых чисто логических противоречий, но прежде всего потому, что, как гласит одна из строф Второй главы:

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных
Богиня тайн и вздохов нежных.

Таким образом, художественная изощренность самой тематики элегического наброска «Придет ужасный миг» представляется совершенно неоспоримым свидетельством недопустимости причисления его к «простодушным» и «ясным» образцам *любовной лирики* Ленского.[1] Правда, как дань современной творческой манере, в других произведениях Ленского могли быть известные намеки на «нечто и туманну даль» и «романтические розы» и «поблеклый жизни цвет», но моментом сколько-нибудь определяющим вариации эти и там не являлись, ибо общее заключение о стихах Ленского на л. 27 той же Кишиневской тетради должно было свестись к весьма характерной формуле:

Его стихи конечно мать
Велела б дочери читать.[2]

---

[1] Только как некоторый рефлекс Незеленовских построений на Анненковском фундаменте могут быть учтены относящиеся сюда компромиссные замечания Д. Н. Овсянико-Куликовского: «Известно, что Пушкин предполагал дать «образцы» поэзии Ленского, и в черновых тетрадях сохранились относящиеся сюда отрывки и наброски, в которых взяты мотивы, интересовавшие и самого Пушкина. Рисуя Ленского, Пушкин брал свое же лирическое добро и пробовал переплавить его так, чтобы оно вышло — упражнениями «поэта» Владимира Ленского, человека сомнительного призвания и ума. Эту «игру» Пушкин оставил, увидев, что этого не нужно для построения типа Ленского, что достаточно будет — охарактеризовать *лирически* душевное брожение молодого энтузиаста и довершить дело юмором, которого блестки вкрапливаются то там, то сям» («Собрание сочинений, т. IV. Пушкин». С.-Пб. 1909, стр. 112).

[2] Текст этой черновой строфы даем в чтении М. Л. Гофмана. Op. cit., 52—53.

Приговор этот, дважды самим Пушкиным закрепленный как раз в занимающей нас ранней редакции второй главы, не мог бы, разумеется, вовсе иметь места, если бы отожествление «отрывков северных поэм» с набросками листов 29-го и 30-го заключало в себе хотя бы некоторую степень вероятия.

Третьим из выдвинутых в «Материалах для биографии Пушкина» положений о недовершенных элегиях 1823 г. — являлось известное заключение, что «оба отрывка ни что иное, как шуточное подражание Макферсону», «пародия на тяжелые шестистопные элегии, бывшие некогда в моде, и вместе лукавая насмешка над туманными произведениями Ленского». Представляется совершенно несомненным, что в основе этой интерпретации обнаруженных среди черновиков Второй главы элегических фрагментов могло лежать, во-первых, произвольное отожествление их композиционного задания с назначением памятных всем строф Шестой главы «Куда, куда вы удалились», действительно стилизованных как «стихи Ленского», во-вторых, признание некоторого формального их несоответствия тематике и технике прочих Пушкинских произведений этой поры и, наконец, в-третьих, столь же ничем не оправданное, но явно восходящее к приурочению элегии «Придет ужасный миг» и «Надеждой сладостной младенчески дыша» к «отрывкам северных поэм», толкование самого эпитета «северный», как «оссиановский», т. е. не чуждый Пушкину в юности туманный «род» Макферсона.[1]

Специального рассмотрения потребует только второе из заключительных положений П. В. Анненкова, ибо первое должно отпасть в связи с обнаруженным выше отсутствием каких бы то ни было оснований для самого включения в роман обеих элегий, а очевидная несостоятельность третьего определяется простой текстовой справкой: в поэтической семасиологии Пушкина эпитет «северный» равнозначен «родному», «русскому» и, оттеняя прежде всего национальное своеобразие, может только противополагаться «иноземному», заимствованному, как, например, в известной черновой

[1] Под очевидным влиянием Анненковского толкования, а никак не Пушкинского текста, В. В. Сиповский в своей известной характеристике Карамзина, как «несомненного прародителя огромной толпы всех этих Ленских—*полурусских* юношей-идеалистов, певцов своей *прекрасной* души» отметил, что это «сходство простирается даже до такой мелочи, как чтение Оссиана, которым и Карамзин, и Ленский угощали своих друзей» (В. Сиповский, «Пушкин. Жизнь и творчество», С.-Пб. 1907, стр. 609).

строфе глава III «Онегина» — «Сокровища родного слова,—Заметят важные умы» и т. д., где строго выдержано противопоставление «северных звуков» «лепетанию чужому»:

Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Но где ж они? Давайте их!
Конечно: северные звуки
Ласкают мой привычный слух;
Их любит мой славянский дух;
Их музыкой сердечны муки
Усыплены ... но дорожит
Одними звуками — Пиит.[1]

Явные противоречия П. В. Анненкова в тех частях его комментария, в которых он даже не согласовал утверждения о пародической конструкции приписанных Ленскому стихов с последующими своими замечаниями об этих же текстах,[2] облегчили критическое отношение к тезису о пародийности еще тогда, когда об оспаривании прочих домыслов П. В. Анненкова об обеих элегиях не могло быть и речи. Так, непосредственно устанавливаемая ближайшая тематическая связь фрагмента «Надеждой сладостной младенчески дыша» с наброском той же тетради «Ты, сердцу непонятный мрак» позволила А. И. Незеленову, а вслед за ним Л. И. Поливанову и П. О. Морозову весьма убедительно интерпретировать так называемые элегии Ленского, как признания автобиографические, как характернейшее для этих лет отражение настроений самого Пушкина.[3] И действительно, «тайны гроба» необычайно волновали поэтическое воображение изгнанника, и если те же трагические восприятия «сей легкой жизни», как «уродливого кумира»,

[1] Строфу эту даем в чтении М. Л. Гофмана. Op. cit., 95.

[2] «Замечательно однакож, что точно в таком же духе есть несколько лицейских стихотворений самого Пушкина... Читатель вероятно уже заметил, что поэт наш сообщил отрывкам Ленского, полагаем, не без намерения, искру чувства и души... Не без удивления видим мы вместе с тем, что Пушкин гораздо позднее возвратился к стихам Ленского и взял от них отчасти мысль, которая является в знаменитой пьесе «Безумных лет угасшее веселье»... (П. В. Анненков. «Материалы для биографии Пушкина», 1855, стр. 328—392).

[3] Новейшим опытом подобной интерпретации являются страницы М. О. Гершензона в статье «Тень Пушкина» («Искусство». Журнал Росс. Акад. Художеств. Наук, М., 1923 г., т. I, стр. 118—120). Перепечатано в посмертном сборнике работ М. О. Гершензона «Статьи о Пушкине», М. 1926, стр. 73—74.

те же пессимистические ассоциации «миров иных» с «ничтожеством», небытием, те же мечтания о магической, преодолевающей и самую смерть силе страсти находят выражение даже в позднейших его произведениях, то Кишиневская тетрадь запечатлела как раз наиболее четкие в своей непосредственности, наиболее яркие в своей эмоциональной выразительности отголоски этих мучительных переживаний. По времени почти совпадая с известными «уроками чистого афеизма», с систематическим уничтожением «слабых доказательств бессмертия души»,[1] элегии «Придет ужасный миг» и «Надеждой сладостной младенчески дыша» в рукописи как бы обрамлены тематически, топографически и хронологически связанными с ними фрагментами Пушкинской поэтической исповеди, началом которой следует признать — на листе 1-м — отмеченную выше черновую редакцию отрывка «Люблю ваш сумрак неизвестной»[2] —

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепова,
Ничтожество! пустой призрак,
Не жажду твоего покрова.
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливых дней не знав от века,
Я всё не верую в тебя,
Ты чуждо мысли человека....
.....
Но улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне станет мир земной.
.....

[1] «Ты хочешь знать, что я делаю?—писал Пушкин весной 1824 г. в одном из перехваченных полицией писем — Пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов тысячу, чтоб доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная» («Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского. Лгр. 1926, т. 1, стр. 74—75).

[2] Наиболее ранним свидетельством об элегии «Люблю ваш сумрак неизвестной», самим поэтом впервые опубликованной в «Моск. Телегр.» 1826 г., VII, отд. 2, стр. 5—6, является письмо Л. С. Пушкина к С. А. Соболевскому от 26 октября *1825* г. («Соч. Пушкина», изд. Акад. Наук, III, примеч., 221). Между тем, во *всех* изданиях Пушкина элегия «Люблю ваш сумрак неизвестной» печатается под *1822 годом*, к которому отнес ее в издании 1829 г. сам поэт, на том, вероятно, основании, что она является *позднейшей* (и, добавим, весьма существенной) переработкой датируемого этим временем отрывка «Ты, сердцу непонятный мрак». Это явно условное приурочение «уточняет» В. Я. Брюсов, подписывая без всяких оговорок канонический текст «Люблю ваш сумрак неизвестной» отсутствующей у Пушкина датой: «27 мая 1822 г.», произвольно заимствованной редактором из... надписи на переплете той Кишиневской тетради, в которой находится перебеленная редакция ... «Ты, сердцу непонятный мрак» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. под ред. В. Брюсова, т. I, стр. 173).

Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя —
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?
Любви! но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой, —
Что без нее душа моя?

— а заключением,—на листах 39-м и 41-м той же Кишиневской тетради — некоторые признания (с иной, правда, мотивацией) XXXIX строфы главы второй «Онегина»:

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею,
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить....

Наконец, некоторое, быть может, возвращение к теме «Придет ужасный миг» (мотивы которой вновь развиваются через несколько лет в «Заклинании») намечает на листе 43_2 набросок, давно связываемый с увлечением Пушкина Амалией Ризнич, — «Всё кончено: меж нами связи нет. В последний раз обняв твои колени, Произношу я горестные пени. Всё кончено, я слышу твой ответ»[1] и т. д.,

[1] Принимая Анненковское приурочение наброска («Материалы», изд. 1855 г., стр. 347), мы полагаем, что в его содержании, положении в рукописи и хронологии нет оснований для исключения его из цикла произведений Одесского периода, вдохновленных увлечением Амалией Ризнич. «Тяжелое напряженье» периода, «опыт ужасный», то «нежная», томительная тоска», то «жар» и «бред», «безумство и мученье» — вот самим Пушкиным определенные признаки этого бурного увлечения, достигшего своего апогея, очевидно, осенью 1823 г. По крайней мере, первое произведение, несомненно связанное с А. Ризнич, — элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты, Моей любви безумное волненье»—набросана на листе 13 и 16 Кишиневской тетради *около середины октября* 1823 г. (Ср. П. Е. Щеголев, «Пушкин. Очерки», 1912, стр. 219); «горестные пени» этой элегии сменяет подготовленная, впрочем, ее же эпилогом («Но я любим:.. Наедине со мною ты так нежна» и т. д.) «Ночь» («Мой голос для тебя и ласковый и томной»), относящаяся к определяемому нами циклу по самой дате своей — «*26 октября* 1823 г.»; «ревнивые мечты», переходы от надежды к отчаянию, не перестают тревожить творческое воображение, но уже *около 3 ноября* выливаются в известное оправдание (листы 20 и 30) самой смертью не погашаемой страсти («Придет ужасный миг. Твои небесны очи» и «Надеждой сладостной младенчески дыша»); к *концу ноября — первым числам декабря* должны быть отнесены признания л. 39_2 — «Когда желанием и негой утомленный» (черновик этот впоследствии использован был для «Желанья славы»); наконец, в *последних чи-*

при чем обнажение здесь трагедии «любовника безотрадного», выявляя совершенно конкретные основания обостренной трактовки в лирике 1823—1824 гг. «роковых» тайн «гроба», томительных искушений любви и смерти, с несомненностью определяет и самый генезис так называемых элегий Ленского. Их метрическая схема— александрийский стих (действительно, необъяснимая в «Онегине»), — также ни в каком случае не может быть признана неожиданной и странной: Пушкинская патетика именно на юге находит преимущественное выражение в ритмах чистого шестистопного ямба, культивирование которого — под некоторым, быть может, воздействием формальных достижений Андрея Шенье — особенно ярко, по известной классификации В. Я. Брюсова,[1] характеризует как раз «третью ступень Пушкинской техники», годы 1820—1824, а не первые опыты Лицейской поры, реставрированные во время работ над «Онегиным», как полагал П. В. Анненков, лишь «по одному воспоминанию».[2]

слах января, точнее, до 8-го февраля, наброском «Всё кончено; меж нами связи нет» лист 43_2 совершенно отчетливо завершает все непосредственные отражения в лирике Одесских лет «опыта ужасного» любви 1823 г. Расширяя, таким образом, на основании показаний самих рукописей, чисто логически в свое время определенный П. Е. Щеголевым («Вестн. Евр.» 1904 г., I и «Пушкин» С.-Пб. 1912, стр. 196—223) цикл произведений, вдохновленных Амалией Ризнич, мы полагаем, что предположение его о некоторой связи отрывка «Всё кончено» с условно относящимся к гр. Е. К. Воронцовой «Желаньем славы» отпадает не только из-за отмеченных еще Н. О. Лернером («Библ. вел. пис. Пушкина», III, 1909. стр. 551—552) и П. О. Морозовым («Соч. Пушкина», изд. Ак. Наук, III, 1912, стр. 368) кой-каких противоречий в самом содержании сравниваемых произведений, но в силу прежде всего хронологического несоответствия: увлечение Е. К. Воронцовой, имя которой в известном «донжуанском списке» следует за именем Ризнич, может быть относимо даже при нынешних скудных о нем данных (их новейшая критическая сводка сделана М. П. Алексеевым в «Материалах для биографического словаря Одесских знакомых Пушкина», Одесса, 1927, стр. 36—42) лишь к последним месяцам пребывания Пушкина в Одессе, а набросок «Всё кончено» точно фиксирует какой-то разрыв, происшедший никак не позже января 1824 г.

[1] В. Я. Брюсов. «Стихотворная техника Пушкина» («Библиотека великих писателей под редакцией С. А. Венгерова. Пушкин», т. VI, стр. 352).

[2] Весьма характерно, что под влиянием этого явно несостоятельного положения об «элегиях Ленского» П. О. Морозов готов был признать, что «александрийский стих, которым они написаны, действительно тяжел, и в пору расцвета Пушкина стал уже выходить из моды, хотя Пушкин пользовался им не только в лицейских своих стихотворениях, но и позже, например, в обоих Посланиях к цензору, в Ответе Анониму, в Послании к кн. Юсупову и пр.» («Сочинения Пушкина», изд. Академии Наук, т. III, 1912, примечания, стр. 358).

3.

Решительная несостоятельность Анненковского заключения о «стихах Ленского» обнаруживается, таким образом, разбором не только *основных* его положений, но и всех их *производных* деталей.

Чем объяснить, однако, это разительное даже для дилетанта нагромождение на протяжении одной-двух страниц стольких натяжек, неточностей, извращений и противоречий в труде выдающегося знатока Пушкина, осведомленнейшего его биографа, тонкого и осторожного комментатора, каким несомненно был П. В. Анненков? Найти разгадку, думается и здесь нетрудно: она давно подсказана самим исследователем, который в сознании прежде всего своей ответственности за некоторые страницы «Материалов для биографии Пушкина» на склоне лет опубликовал «Любопытную тяжбу». Отправляя воспоминания о последней в редакцию «Вестника Европы», он писал 15 октября 1880 г. М. М. Стасюлевичу: «А вот пока займитесь длинной рацеей, у сего прилагаемой: это история выхода в свет «Издания сочинений Пушкина 1855» и описание балета, который тогда протанцовала С.Петербургская Цензура. Истинно вам говорю, что это — поганейшая история и стоила мне такого труда, как ни одна из статей, находящихся в вашем сборнике моих произведений. Вы это увидите сами по бессвязности рукописи и яростным помаркам, которые ее украшают. Разбирать такое мазанье можно только по дружбе, вникать в содержание только из любопытства или снисхождения. Я говорю это совсем не ломаясь. Подумайте: какая гадость исписывать целые страницы только о самом себе и о пакостях, которые с вами творились. Но что написано, то написано. Делайте из вещи какое вам угодно употребление, бросайте ее в запас, ломайте, крошите, усекайте, а наконец и сожигайте, буде найдете, что имя автора может из-за нее пострадать: на всё святая воля ваша! Я даже из предчувствия последнего не подписал и своей фамилии, а обозначил, что дескать «сообщено», но и это, как и всё прочее, предоставляется вашему благоусмотрению».[1]

[1] Письмо заканчивалось просьбой «непременно сообщить статейку А. Н. Пыпину; он подучил меня написать ее, он и должен вытереть за то надлежащее наказание» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», С.-Пб. 1912, III, стр. 391).

на 193 листах. Рецензирование манускрипта поручено было хорошо известному в летописях русской печати цензору А. И. Фрейгангу, соображения которого о каждом «предосудительном» месте рукописи с «заключениями» председателя Цензурного Комитета гр. М. Н. Мусина-Пушкина представлены были 26 октября в Министерство Народного Просвещения.[1] В числе произведений, намеченных обеими инстанциями к исключению, были и «стихи о бессмертии души» (рукопись П. В. Анненкова, т. II, стр. 84). В защиту изуродованной С.-Пб. Цензурным Комитетом рукописи подано было министру особое «Объясненіе издателя сочиненій Александра Сергѣевича Пушкина, Коллежскаго Секретаря Павла Анненкова по поводу нѣсколькихъ исключенныхъ мѣстъ въ произведеніяхъ перваго», в котором, возражая, между прочим, против исключения «отрывков о бессмертии души», издатель на л. 17-м разъяснил, что «Стихи эти представлены Пушкиным, как образец тяжелых, нелепых Оссиановских стихов, какими занимался Ленский — действующее лицо в Онегине. Они написаны с целью пародировать и предать насмешке подобные философствования, а не с целью выставить их на показ, что и сам он объясняет далее. Для ослабления всякой самой легкой двусмысленности в них — следует может быть выпустить первый стих и всю пьесу начать с половины второго: ...«верил я, что некогда душа».

Объяснения П. В. Анненкова, доведенные министром до сведения С.-Пб. Цензурного Комитета, вызвали, однако, новые возражения А. И. Фрейганга, который в рапорте своем от 26 июня 1854 г. на имя М. Н. Мусина-Пушкина относительно листа 84 счел необходимым отметить, что «отрывки *о бессмертии души* были назначены Цензурою к исключению, так как основная мысль их обнаруживает безверие, и форма стихов Оссиановских, Бейроновских или других не может служить ей оправданием».[2] Резолюция А. С. Норова относительно этого места была компромиссного характера: «Позволить с прибавлением объяснения»,[3] при чем характер последнего точно был определен Главным Управлением Цензуры. В официальной «Выписке из нового издания Сочинений

1 Op. cit, I, л. л. 16—18.

2 Op. cit., II, л. 37

3 Резолюции этой предшествовала карандашная отметка на Анненковском «Объяснении»: «Мне кажется, что надо выкинуть только: Когда бы верил я, что некогда душа, могилу пережив ...».

Статья, как уже было выше отмечено, появилась в первой книжке «Вестника Европы» за 1881 г. и, намекая на то памятное в истории Николаевской реакции лихолетье, в которое подготовлялось новое издание Пушкина, прямо удостоверяла: «Составитель Материалов для биографии Пушкина и примечаний к его произведениям знал, при какой обстановке и в каких условиях он работает, и *мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного вмяния враждебных сил. Оно так и было. Не трудно указать теперь на многие места его биографического* и библиографического *труда*, где видимо отражается страх за будущность своих исследований и где *бросаются в глаза усилия предупредить* и *отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения* от его выводов и сообщений». Это характерное для всей полосы цензурного террора стремление «предупредить и отвратить» толкования «подозрительности» это сознательное извращение самим исследователем *деталей* своего построения *для спасения целого* — сказалось и в введении ad usum delphini особого комментария к «сомнительным» даже после исключения нескольких стихов наброскам Одесских элегий 1823 г. Предварительной хитроумной ссылки на то, что это лишь стилизация, нечто в роде «отрывков северных поэм», оказалось, очевидно, недостаточно и, как повествует сам П. В. Анненков в «Любопытной тяжбе», ему пришлось по требованию цензуры осложнить и без того натянутое толкование Пушкинских стихов тенденциозными оправданиями из официальной объяснительной записки. Документальные данные неизвестных доселе дел С.-Пб. Цензурного Комитета и Главного Управления Цензуры[1] о допущении к печати «Материалов для биографии Пушкина», освещая попутно некоторые неясности позднейших воспоминаний самого П. В. Анненкова, подтверждают все вышеприведенные соображения.

19-го августа 1853 г. Товарищ Министра народного просвещения А. С. Норов препроводил Попечителю С.-Пб. Учебного Округа для рассмотрения в С.-Пб. Цензурном Комитете рукопись П. В. Анненкова «Материалы для биографии Пушкина», в двух томах,

1 I. Дело Канцелярии Министерства Народного Просвещения по Главному Управлению цензуры о новом издании сочинений А. С. Пушкина, 1853 г., № 167; II. Дело С.-Пб. Цензурного Комитета о рассмотрении некоторых сочинений А. С. Пушкина и его биографии, издаваемых П. В. Анненковым. Нач. 22 августа 1853 г., № 80.

Пушкина мест, к коим признано необходимым сделать особые объяснения» отрывок «Надеждой сладостной младенчески дыша» сопровождается заимствованной из «объяснения» П. В. Анненкова отметкой: «Стихи эти представлены Пушкиным как образец тяжелых, нелепых Осиповских стихов, которыми занимался Ленский, одно из действующих лиц в *Онегине;* они написаны с целью пародировать и осмеять подобные философствования. Эти стихи дозволены с тем, чтобы издатель присоединил к ним в рукописи объяснение, подобное изложенному здесь».[1]

7 октября, на «всеподданнейшем» представлении Министра Народного Просвещения о разрешении «выпустить в свет новое издание полного собрания сочинений Пушкина, за исключением мест, признанных Главным Управлением Цензуры неподлежащими одобрению к печати» последовала следующая резолюция императора Николая: «Согласен, но в точности исполнить, не дозволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок редактора».[2] Как свидетельствует П. В. Анненков (несколько, впрочем, неясно и неточно передающий об «окончательной санкции»),[3] «представлялась возможность применить последнее из этих решений к биографии и примечаниям, собранным в издании, и отказать им в пропуске, за что уже и были поданы голоса; и являлась возможность отнести решение к критикам и рецензентам, которые могут явиться после издания. Министерство Народного Просвещения растолковало его в последнем смысле и приняло на себя ответственность за такое понимание его сущности».

[1] Op. cit., II, л. л. 53—54. Как свидетельствует П. В. Анненков, в Главном Управлении Цензуры «министр излагал свои мнения... наперекор своему подчиненному, Попечителю Учебного Округа [он же председатель С.-Пб. Цензурного Комитета], который отстаивал помарки цензора, почти как политическую необходимость и, выходя из заседания, промолвил с негодованием: «Еще не бывало, чтобы целое ведомство пожертвовано было неизвестно откуда взявшемуся господину» («Вестник Европы» 1881 г., кн. I, стр. 42).

[2] О резолюции этой Министр народного просвещения уведомил председателя С.-Пб. Цензурного Комитета 14 октября 1854 г. (Op. cit., II, л. 44).

[3] «Издание Пушкина 1855 г. в полном его составе висело на волоске вплоть до своего появления. Когда воспоследовала окончательная санкция, дававшая право на выпуск в свет и всех произведений Пушкина, дополнявших старое издание и уже проверенных Министерством Народного Просвещения, — возник вопрос, как понимать слова, которыми она сопровождалась: «без всяких прибавок и неуместных умничаний по их поводу». Представлялась возможность применить последнее из этих решений» и т. д. («Вестник Европы» 1881 г., I, стр. 43).

Таким образом, официально санкционировано было не только явное извращение текста «Материалов для биографии Пушкина», но и крайнее ограничение прав фактического их разбора в печати. Не подорванная поэтому критикой в самом начале, в научный и школьный обиход вошла и симпровизированная П. В. Анненковым во время «тяжбы» с цензурой легенда об особых тематических, стилистических и композиционных заданиях двух элегических опытов 1823 г., — о так называемых «стихотворениях Ленского».

Ю. Оксман.

Одесса.
1921. 1927.

«РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ»
НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА.

Проблема прозаического повествования, уже в Михайловском уединении во всей полноте ставшая перед Пушкиным и требовавшая разрешения, — к 1830 году заняла в его творческом сознании место если не первенствующее, то равное вопросам стиховых жанров.

Причины этого обусловлены как личной творческой эволюцией поэта, так и общим ходом русской художественной литературы 1820—1830-х годов. Пушкин, всегда сознательный в своих творческих устремлениях, не только отдавал себе отчет в совершавшемся процессе, но и отразил его практически в целом ряде опытов в прозе.

Результатом этих опытов явились в 1830 году «Повести Белкина», характерное произведение «Болдинской осени», — эпохи, насквозь проникнутой творческим самоанализом и литературным экспериментированием. Еще более яркий их след — в тех многочисленных набросках повестей и романов, в тех планах, которые создавались, начиная, повидимому, с 1826—27 года и особенно в 1830—1833 годах. Ни один из них не был доведен до конца, — даже «Дубровский», третья часть которого была лишь задумана и сохранилась в планах, — но попытки продолжались до самых последних лет жизни поэта: к 1835 году относятся последние приступы к «Египетским ночам» и программы с наброском начала романа «Русский Пелам».

Последний один лишь, из всего ряда попыток, подвергся более или менее подробному исследованию, да и то недостаточному.[1] Остальные едва мимоходом затронуты в работах старых и новых исследователей, начиная с П. В. Анненкова; даже полный учет этих набросков не произведен, а некоторые и до сих пор еще неизвестны вполне в печати.

Среди этих опытов один особенно интересен. От него сохранился до нас материал, аналогичный по составу «Русскому Пеламу»: набросок начала повести и ряд схематических планов ее. Но тогда как в «Пеламе» реконструкция всего произведения по его планам очень проблематична, здесь, наоборот, она осуществляется с большою долею вероятия. Обратимся сначала к наброску начала повести.

Этот набросок был впервые напечатан в 1881 г. П. И. Бартеневым по рукописи б. Румянцовского Музея, из черновиков Пушкина. Начинается он словами: «В одно из первых чисел апреля 181* г. в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха . . .»[1] и занимает не более двух печатных страниц. В нем дана экспозиция повести и очерки некоторых ее действующих лиц: Московский барский дом, типичный для старой «Грибоедовской Москвы»; две барыни: хозяйка, Катерина Петровна Томская, и ее знакомая, Парасковья Ивановна Поводова, обе говорящие тем сочным, почти «простонародным» языком, «языком Московских просвирен», который так ценил Пушкин и которым говорят представители старшего поколения в «Горе от ума»; толстый управитель с величавым лицом, в душе смеющийся над барыней, фигура которого дополняет бытовую насыщенность сцены. На фоне этой обстановки контрастно выделяется образ дочери Катерины Петровны — «девушки лет 18-ти, стройной и высокой, с бледным, прекрасным лицом и черными огненными глазами» — несомненной будущей героини романа. Сцена изображает момент перед отъездом матери с дочерью на Кавказские воды. Ничего, кроме экспозиции, отрывок не дает; по нему трудно судить, во что развернется рассказ и какие еще действующие лица будут введены в него. Но, судя по детальности вступления, без намека пока на завязку, можно думать, что перед нами не схематически-сжатая повесть, как «Повести Белкина», а более крупное произведение, быть может — роман. И подтверждением этому служит *план повести*, автографы которого хранятся в «Майковском собрании»

[1] В статьях П. В. Анненкова — «Литературные проекты А. С. Пушкина» («Вестник Европы» 1881, июль, стр. 29—49) и С. И. Поварнина — «„Русский Пелам" А. С. Пушкина» — «Памяти Пушкина». Сборник статей преподавателей и слушателей Историко-Филологического Факультета С.-Петербургского Университета, С.-Пб. 1900, стр. 329—350.

[1] «Русский Архив» 1881 г., кн. III, стр. 466—468; ср. в изданиях сочинений Пушкина под редакцией П. О. Морозова («Просвещение»), том V, стр. 212—216, и под ред. С. А. Венгерова («Брокгауз-Ефрон») т. IV, стр. 233—234.

рукописей Пушкина, находящемся в Рукописном Отделении Библиотеки Академии Наук.[1]

Анализ этого плана, до сих пор неизвестного вполне исследователям, позволяет раскрыть сюжет и композицию всего произведения. План состоит из шести отдельных набросков или отдельных планов и 7-го зачеркнутого, написанных на 6-ти листках, вернее — обрывках бумаги разного вида и формата, видимо случайно попадавшихся под руку Пушкину при составлении его. Некоторые особенности позволяют с большою долею вероятия датировать как планы, так и повествовательный отрывок «В одно из первых чисел апреля...» Под последним стоит помета: «30 сентября». В. Е. Якушкин указал на водяной знак бумаги «1831»;[2] последующие издатели помечали его 1831 годом. Эта датировка подтверждается планами: два из них написаны на бумаге с водяными знаками «1829» и «1830», что дает terminus post quem; третий написан на обороте записки к Пушкину Е. М. Хитрово, говорящей, повидимому, о стихотворениях его на взятие Варшавы, изданных в 1831 году отдельной брошюрой вместе со стихами Жуковского.[3] Брошюра вышла в свет около 14 сентября,[4] а письмо Е. М. Хитрово написано вскоре вслед за этим. Всё это приводит нас к *сентябрю 1831 года*:[5] во второй половине месяца набрасывались планы, по крайней мере некоторые, первоначальные, осуществлением одного из которых является повествовательный набросок; 30 сентября начата самая повесть и помечен в рукописи первый ее отрывок, первый этап работы. С другой же стороны, на одном из планов имеется помета (относящаяся, повидимому, к денежным расчетам Пушкина): «17 окт.», *и т. д.* написанная, судя по почерку и положению, ранее текста плана, что показывает, что работа Пушкина над отдельными частностями замысла продолжалась и после начала самого повествования, набросанного 30 сентября. Мы не знаем, было ли у этого начального отрывка продолжение; во всяком случае, в бумагах Пушкина не осталось никакого следа. В это время Пушкин жил в Царском Селе, стараясь наладить свою новую семейную жизнь и новые придворные и светские отношения.

Семь планов заключают в себе ряд вариантов, меняющих ход и подробности рассказа; между ними трудно установить точную хронологическую последовательность в составлении, но логическая последовательность определяется так: три плана — I, II, III — основные; IV и V (и зачеркнутый VII) — варианты, повторяющие в иных выражениях содержание отдельных частей трех первых; VI — развитие одной лишь детали. Не восстанавливая во всех чертах рукописный текст семи планов, можно, пользуясь где нужно конъектурами, проследить по ним ход развития творческого замысла Пушкина, его изменения, отклонения и постепенную выработку очертаний композиции повести.[1]

План I[2] представляет собою как бы интродукцию к повести: обстановку, перечисление действующих лиц, первые, вступительные моменты рассказа, до начала романической интриги. Это — один из самых ранних, если не самый ранний по времени составления план повести. На последнее указывает как форма плана, так и то, что он написан двумя разными почерками: одним — более

---

[1] См. «Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 23, № 5 (99). Автором описания, В. И. Срезневским, дано здесь плану название: *«План романа на Кавказских водах»*, что весьма точно определяет основные черты произведения. Этим названием мы здесь и пользуемся, за неимением иного заглавия, данного Пушкиным.

[2] «Русская Старина» 1884 г., октябрь, стр. 83. Отрывок занимает два полулиста, вложенные один в другой и находившиеся в тетради № 2377-А б. Румянцовского Музея. Тетрадь состоит из отдельных автографов разных годов (преимущественно 1830-х), сложенных вместе уже после смерти Пушкина, и потому сама по себе ничего не дает для датировки отрывка.

[3] Записка напечатана в Академическом издании «Переписки Пушкина», т. II, стр. 324. Ср. «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово» (Труды Пушкинского Дома, вып. XLVIII), Лгр. 1927, стр. 130—131, 286 и сл.

[4] См. у Н. Синявского и М. Цявловского: «Пушкин в печати», М. 1914, стр. 106, № 793.

[5] Впрочем, можно предположить, судя по почерку, что часть одного из планов более раннего происхождения, чем остальные. См. об этом ниже.

[1] Мы даем планам *совершенно условную* нумерацию от I до VII. Полная транскрипция рукописей планов со всеми их особенностями приготовлена нами в настоящее время к печати в составе описания всего «Майковского Собрания» («Неизданный Пушкин», том II).

[2] На одной стороне листка бумаги vergé, с оборванным клеймом; жандармская помета «36», оборот листа — чистый, среди текста и сбоку — два рисунка, вроде кустарников, из которых один переделан из обычного заключительного росчерка Пушкина. Ниже, при передаче текстов планов, зачеркнутое Пушкиным ставится нами в прямые скобки [ ]; дополненные для ясности части недописанных слов (а Пушкин почти все слова в планах пишет без окончаний) и пояснительных слов (а Пушкин почти все слова в планах пишет без окончаний) и пояснительные, принадлежащие нам слова, — в ломаные скобки ⟨ ⟩; скобки самого Пушкина обозначены круглыми ( ); вопросительные знаки в ломаных скобках означают прочитанное или расшифрованное предположительно. Зачеркнутые, но восстановленные в рукописи слова обозначены звездочками *.

ранним — основная часть плана; другим, более поздним и сходным с почерком остальных планов, внесены переделки в основную часть, сделан росчерк-рисунок и записаны ниже росчерка две отдельные заметки. План читается так:

«Теперешнее состояніе Кавказа, и прежнее —
Кто были [посѣтители и] жители?
Пріѣздъ Моск<овской> барыни, (ея дочь, комп<аньонка,> двѣ дѣвки, куч<еръ>, пов<аръ>, дв<оровые> сл<уги>).
Вслѣдъ за нею отецъ' Як.' [съ Ив.][1] и Ген<ералъ> Мер. съ женой атаман<ены> черк<есами>.
[Жит<ели>] Генералъ' Мер.' съ' женой', Маіоръ Кур. нач<альникъ> отр<яда> — казач<іи> отря<дъ>.[2]
Больной оф<ицеръ>,[3] два лѣкаря, (враги по рем<еслу>) кто скорѣй рекомендуется>».[4]

Ниже две отдельные заметки, написанные более поздним почерком и отделенные сверху — росчерком, а снизу — линейками:

«Москва, сцена отъѣзда или объ отъѣздѣ —
Общество на водахъ два лѣкаря. Курил., больной и *офиц*<еръ> пріѣхавш<ій> заранѣ».

Эта именно сцена «об отъезде» из Москвы барыни с дочерью, компаньонкой, девками и проч. — составляет набросок, известный в печати по рукописи б. Румянцовского Музея: «В одно из первых чисел апреля 181' года...». Она-то и служит связью между планом и отрывком повести, позволяя судить о характере произведения Пушкина. Вторая заметка, как видно, резюмирует и повторяет содержание основной части плана, выделяя одно действующее лицо — «офицера, приехавшего заране».

---

[1] Разобрано предположительно и исправлено по смыслу.

[2] Фамилии действующих лиц, обозначаемые Пушкиным здесь и далее сокращенно — «Як.», «Якуб.», «Куб.»; «К.», «Корс.», «Кор-ы» — раскрываются нами в своем месте; здесь, при передаче планов, мы точно следуем начертаниям поэта. Фамилии «Мер.», «Кур.» раскрываются далее самим Пушкиным.

[3] Написано над строкою, вместо зачеркнутого: Обл<астной начальник?>.

[4] Последние два абзаца основного текста, от слова «[Жит<ели>»] до слов «кто скорѣй рекоп.» включительно, заключены в фигурные скобки, сделанные более поздним почерком, и посредством таких же скобок перенесены выше, непосредственно за фразой: «Кто были [посетители и] жители?» — т. е. в развитие ее.

На другом листке[1] набросан сначала перечеркнутый отрывок плана (VII), характерный тем, что он написан почти целиком по-французски; он дает лишь один центральный эпизод повести в самой сжатой, простой, эмбриональной форме:

«Якуб. enleve Marie qui a fait avec lui la coquette. —
[Son amant l'enleve du milieu des tcherkes] —
Kounak — un jeune garçon [amoureux de] [d'elle] attaché à elle. l'enleve et la [donne <?>] rend à sa famille — ».

Здесь, таким образом, героиня носит имя Марии. Ниже, отделенный чертою, записан II полный план, начинающийся, как и первый, экспозицией обстановки на Кавказских водах, с некоторыми вариантами против I: вместо матери с дочерью — отец, первоначально — с двумя дочерьми, потом переделано: с дочерью; последняя здесь, как и в зачеркнутом, носит имя Марии. Судя по началу выполнения планов — по известному повествовательному отрывку — этот вариант об «отце» был отброшен; имя же дочери — Мария («Маша») в нем сохранено.

Этот II план таков:

«Les eaux — une saison; весна, кто живетъ на Кавказѣ — одинъ разслабленный, маіоръ[2] Курисовъ[3] — Генералъ-баба, Генеральша Мерлина — два лѣкаря.

Семейства съѣзжаются — семейство N изъ Москвы — Отецъ и дочь.[4] Отецъ составляетъ вистъ: разсл<абленный>, лѣк<арь> и Кур<исовъ> — дочь держится[5] съ воспитанницей Генер<альши> — воспит<анница> чувств<ительная> сводня.—|Пріѣздъ Якуб—| [Пріѣздъ брата, Любовникъ|.

Поэтъ, братъ, любовникъ, Якуб., зрѣлыя <?> невѣсты, банкометы (сотр<удники?>) Якуб.

---

[1] Листок с водяным знаком «... 829» и с жандармской пометой «29», текст с обеих сторон; на обороте — рисунок: женский профиль, очень характерный, сильный и гордый, с римским носом, черными локонами, в кружевном чепце и платье эпохи 1810—1820 годов. Весьма вероятно, что Пушкин, набрасывая план, зарисовал здесь же портрет «дочери», героини Кавказской повести. См. приложенное факсимиле этой страницы плана.

[2] Написано над строкою, вместо зачеркнутого: «конвойный».

[3] Так пишется здесь его фамилия; в других планах он назван «Курилов».

[4] Первоначально было: «двѣ дочери».

[5] Первоначально было: «Дочери I) держится» т. е. Пушкин хотел говорить о разном поведении двух дочерей.

(На оборотѣ листка:)

На другой день больные[1] — всѣ дамы на гуляньи ждутъ Якуб. Онъ является — съ братомъ[2] который представляетъ его — Его ловятъ — Онъ влюбляется въ Марью — Cavalcade Бешту. Якуб. сватается черезъ брата Pelham[3] — отказъ. — *дуель* — у Якуб. секундантъ поетъ — у брата (Кур<исовъ>) отказыв<ается>) *любовникъ* раненый на Кавк<азѣ> офицеръ; бывшій влюблен<ный>, знавшій[4] Якуб. въ горахъ и нѣкогда имъ ограб<ленный>) — —

Якуб. enleve — тотъ[5] ѣдетъ и спасаетъ ее съ однимъ Кунакомъ — —

Якуб. ночью ѣдетъ въ аулъ — *уздынь* —

во время переѣзда изъ Горяч<ихъ водъ> на Холодныя».

План III,[6] столь же развитого содержания, как только что приведенный II, дает несколько вариантную редакцию всего построения, возвращаясь отчасти к I. Здесь Московская барыня носит фамилию «Корс.», дочь ее — «Александра», «Алина», герой («Якуб.» других планов) — то «Кубов.», то вновь «Якуб.», влюбленный в дочь противник его — «Граневъ». Вновь появляется и отец «Якуб.». В начале записана схема центрального эпизода:

«Алина[7] увезена Кубов. въ аулъ и спасена [ея женихомъ] |влю<бленнымъ> офицер<омъ>|[8] — Граневъ».

Ниже, несколько иным почерком, идет весь план:

«Пріѣздъ на станцію старухи К. и старика Куб. Корс. ѣдетъ далѣе, а онъ плететея назадъ — [Они атакованы].

Граневъ, Курловъ и Хохленко сидятъ у кислосѣрнаго источника — Курил<овъ> разказываетъ черк<есскій> набѣгъ — ѣдетъ

---

[1] Чтение предположительное; м. б. «базара».

[2] Т. е. с братом приезжей из Москвы барышни.

[3] Это слово надписано сверху, над строкою.

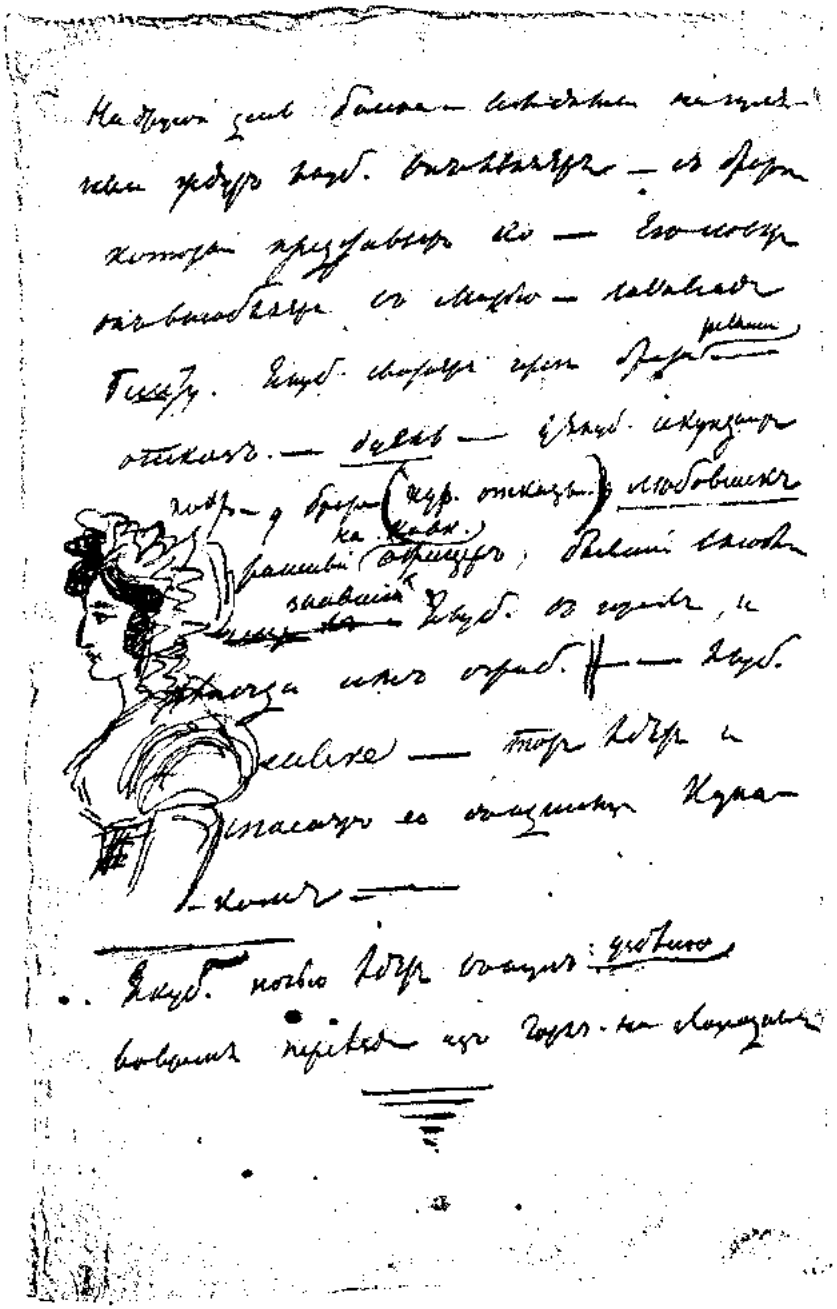
[4] Это слово надписано над зачеркнутым; «еше въ».

[5] Т. е. «Любовник», «раненый офицер».

[6] Лист в 4-ку, с водяным знаком «... Г ... 30» т. е. «Афанасій Гончаров 1830», и с жандармской пометой «52»; текст с обеих сторон. На оборотной стороне рисунок — голова лошади — и, в обратном тексту направлении, какие-то записи столбцами: «4 5 Ф Ф 5 7 9 8», «[Онъ мнѣ даетъ] 4 5 Фиг. Фиг. [Я даю] [ему пят]» и другие такие же, смысла которых для нас неясен (быть может, карточные расчеты?).

[7] Первоначально было: «Корс.» потом «Алек.» «Александ.».

[8] Эти два последние слова надписаны над строкою.



План II «Романа на Кавказских водах», оборот листа.

Корс. — Шмидтъ предупреждаетъ Хохл‹енку›. [Хохл‹енко› ходитъ] Пріѣзжаетъ въ пар‹аличѣ?› разб‹итый› ст‹аршкъ›.[1] Хохл‹енко› ходитъ за нимъ.

Алина кокетничаетъ съ офиц‹еромъ› ‹*Граневымъ*›, котор‹ый› въ нее влюбляется — Вечера Кавказія — Пріѣздъ Кубок. — смерть его отца — театральное погребеніе — Алина начинаетъ съ нимъ кокетничать. ‹*На обороте листка:*› Куб. введенъ въ кругъ Корс. — Имъ всѣ восхищаются — Граневъ его начинаетъ ненавидѣть — Якуб. предлагаетъ свою руку, она не соглашается — [онъ ее увозитъ съ бала] влюбленный *нерзб.* онъ предаетъ его черкесамъ[2] — [Она] [Гран‹евъ› ѣдетъ освобождать] ее и на дуэлѣ убиваетъ Куб.».

Ниже заметка, относящаяся, нужно думать, к промежуточному эпизоду с Граневым:

«Онъ освобожденъ (Казачкою Черкешенкою) и является на воды — дуэль Якуб. убитъ».

Таковы три основных плана. Остальные — IV, V, VI и VII (зачеркнутый) — представляют промежуточные вариантные стадии, не вносящие существенно-нового в общую композицию, но лишь развивающие детали, иногда изменяя их.

VII план был приведен выше.

План VI[3] подробно развивает один эпизод III («Граневъ, Куриловъ и Хохленко сидятъ у кислосѣрнаго источника. . .»), намеченный и в I плане, и поясняет слова этого последнего о двух лекарях — «врагах по ремеслу»; фамилия «малоросса лекаря», как видно из планов, твердо не установлена.

«*Хлапенко*[4] малор‹оссъ› лѣкарь; поэтъ, игрокъ, воинъ, hussard, любопытн‹ый› — Гулятъ съ Казачьимъ офицеромъ или съ больнымъ откупщ‹икомъ› О‹десскимъ?›,[5] который ему разказываетъ[6] — —

---

1 Вероятно, отец «Куб.», упоминаемый ранее.

2 Предыдущие фразы, от слов «предлагаетъ свою руку» включительно — зачеркнуты поперечной чертой.

3 Листок бумаги без водяных знаков; жандармская помета «15». Текст с одной стороны, оборот чистый. Над текстом — заметка, упомянутая выше: «17 окт. Пяг. [по] 270 р.», написанная, как сказано, повидимому *ранее* текста плана. Быть может, конечно, она относится к другому году.

4 Переделано из нелегко-читаемой фамилии — кажется, «Флобенко».

5 Последние слова («или съ. . .») вставлены сбоку текста.

6 О набегах горцев на путешественников?

Ѣдетъ каляска съ дамой Моск‹овской› — *Хлап‹енко›* опаздыв‹аетъ› — нѣмецъ беретъ его мѣсто — куда вы Адамъ Адам‹овичъ› ».

План IV [1] сокращенно повторяет часть содержания III; новым является упоминание некоторых лиц, роль которых неясна:

«Купакъ, другъ Якуб., плѣн‹ите›ль[2] Оф‹ице›ра,[3] братъ козачки. Послѣдн‹яя› станц‹ія›. Парал‹итикъ›[4] разг‹овариваетъ?›. Ник — ‹?›' и' Корс-ой'. Пріѣздъ пар‹алитика›, смерть его въ Конст‹антиногорской крѣпости?›. Пріѣздъ сына съ каз‹аками?›. Похороны. Всѣ — кокетство ».

Затем идет ниже, отделенное чертой:

«Пріѣздъ Кор-ой — Общество на водахъ — — Кавк‹азскій› Пл‹ѣнникъ?›.[5] Дочь съ нимъ кокетн‹ичаетъ› — она‹?› влюбляется — [онъ ей другъ] Пріѣздъ Парал‹итика› ».

Фигурные скобки, которыми отчеркнута средняя часть плана (от: «Послѣдняя станція» до «Всѣ—кокетство») показывают, что эта часть и последняя должны были перемениться местами. Сбоку записан дальнейший ход повести:

«Встрѣча Плѣ‹нника› съ Якуб. [у] Корс. — Объясн‹еніе› ».

План V,[6] очень сжатый и неполный, дает частью известные из других планов эпизоды, а частью и новые, не укладывающиеся в их рамки. Если судить по схематичности и сжатости этого плана, он является одним из ранних очерков. В нем смешаны французский и русский языки, так же, как во II и VII:

«Якуб. хочетъ жениться — ».

---

[1] Листок бумаги без водяных знаков, жандармская помета «16». Текст на одной стороне; на обороте, неизвестною рукою, чей-то адрес: «Навасильевскомъ Острову Въ 10-й линіи Въ собствѣнномъ Д. подъ № 377-мъ».

[2] Окончание слова «— ль» написано Пушкиным над строкою, как бы для памяти себе — чтобы не спутать со словом «плѣн-никъ», — что̀ убеждает нас в правильности чтения «плѣн-ите-ль».

[3] Т. е. Гранева III плана.

[4] Старик — отец «Якуб.».

[5] Так Пушкин, повидимому, называет Гранева.

[6] Развернутый почтовый лист малого формата без знаков, текст с одной стороны, на обороте — помянутая выше записка Е. М. Хитрово; жандармская помета «42». Сбоку от текста — рисунки Пушкина, изображающие кусты и деревья.

Это написано отдельно, вверху пустой страницы; на другой странице:

«[Кавказск‹ія› воды[1] — семья русская — Якуб. пріѣзжаетъ] Якуб. impatronisé. Arrivé du [frère] véritable* amant* [tout le monde] les femmes enchanté de lui. [On]. Soirés [dans] въ Калмыцкой кибиткѣ — [jeux] встрѣча — изъясненіе — поединокъ — Якуб. [рапецъ] не дерется — условіе. Онъ скрывается — Толка, забавы, гулянія — [Кунакъ] — [Enlev‹ement?›]. Нападеніе Черк‹есовъ› enlevement — — [Москва] [Пріѣздъ Якуб. в Москву] — ».

Новым является упоминание о несостоявшемся из-за отказа «Якуб.» поединке. Последняя же (зачеркнутая) фраза — «приезд Якуб. в Москву» — дает неожиданный поворот всему повествованию, предполагает совершенно иное его продолжение, изменяющее собою конец других планов (смерть «Якуб.»); намерение это однако, остается без развития.

Характерно употребление в планах французского языка, преобладающего всецело в VII, зачеркнутом плане, применяемого, хотя и гораздо меньше, также и в V плане и едва заметно — во II, т. е. всего более как раз в самых ранних и сжатых из них; именно в планах и в набросках своих *беглый* мыслей Пушкин часто пользовался французскою речью, находя ее более точной и гибкой и более пригодной для схематических формул.

Большое число планов, их наслоение и ход развития вообще характерны для метода работы Пушкина при выработке сюжетной схемы. Основная часть плана I, как указано выше, написана, повидимому, ранее остальных планов. Этим обстоятельством ход замысла определяется так: первоначально, быть может, вскоре же после посещения Кавказа в 1829 году, Пушкин набросал несколько замечаний — несколько жанровых, пока *бессюжетных* сцен из жизни на Кавказских водах, основанных на личных впечатлениях о пребывании там и на слышанных рассказах; действующие лица снабжены реальными именами (о чем подробнее ниже), а «Московская барыня» оставлена пока безымянной, — что очень характерно. Замысел, едва намеченный, был Пушкиным позднее развит: на том же листке, внеся некоторые перестановки, поэт наметил новую «сцену отъезда или об отъезде» и кратко резюмировал задуманное ранее. Затем продолжал, в ряде планов, набрасывать

---

[1] Первоначально было «Кавказъ».

уже не жанрово-описательный очерк, но *сюжетную схему повести*.

Двум основным, наиболее развитым в сюжетном отношении планам (II и III) предшествуют краткие заметки о центральном эпизоде повести (одна, разрастающаяся в целый самостоятельный VII план, другая очень сжатая): героиня похищена и увезена преследующим ее героем, именуемым «Якуб.» или «Куб.» в горы, в аул, и спасена влюбленным в нее «amant», «женихом» — «Граневым» или преданным кунаком. К этому простейшему, первоначальному фабульному ядру, которое могло дать сюжет для сжатой новеллы, вроде «Повестей Белкина» (что, быть может, и имел в виду сделать из него Пушкин, набрасывая VII план), пристраиваются все остальные эпизоды. Общая схема не меняется от последовательной работы: но, в процессе обдумывания и переписывания планов, меняются, уясняются детали фабулы, расширяется охватываемый ею материал, разрастается количество действующих лиц и пробуются разные сюжетные ходы. Одновременно с записью планов набросано и начало повести в связном виде. Краткая заметка позднейшей части I плана: «Москва, сцена отъезда или об отъезде» и ее положение в плане I указывают на разные возможности изображения: или в виде вступления, экспозиции, предшествующей Кавказскому описанию, или в виде Vorgeschichte, рассказанной уже после вступительного очерка Кавказских вод и описания приезда туда Московской барыни. Каждый вариант, в свою очередь, открывает два пути: или описание самого момента отъезда («сцена отъезда»), или приготовления к нему и разговоры о нем, в которых могли быть обрисованы главные действующие лица («об отъезде»). Именно последний путь избрал Пушкин в своем наброске, дав в нем приступ к рассказу и экспозицию главных женских лиц повести. Этот набросок должен был быть и вступлением, предшествующим, как пролог, описанию Кавказских вод и их обитателей.

Сюжетный характер планов дает возможность, сводя их воедино, дополняя и исправляя один другим, построить, в самых общих чертах, схему фабулы повести в целом:

На Кавказские воды приезжает Московская семья: барыня (называемая «Коре-ой»), ее дочь (Марья, Маша или Александра, Алина) и их свита; позднее приезжает и сын. Сцена перед отъездом их из Москвы составляет, как сказано, введение в повествование. С нею могла быть соединена и общая характеристика

семейства и характеристика самой героини-дочери. Одновременно с ними является на воды и разбитый болезнью старик—отец будущего героя, называемого «Якуб.». К описанию их приезда относится вставной эпизод: разговор обитателей вод о набегах черкесов; происходит (комическое, повидимому) соперничество двух лекарей, немца и малоросса, из-за богатой больной, в котором побеждает немец. Здесь же в планах упоминается о нападении черкесов, — но неясно, к какому моменту оно приурочено и какую композиционную роль должно играть; быть может, это — мотивировка встречи героини с Кавказским офицером Куриловым, другом влюбляющегося в нее Гранева, а через него и с самим Граневым. На водах дочь — Алина — кокетничает с влюбленным в нее офицером Граневым (в иных планах он называется условно «любовником», «amant» и даже — «женихом»). «Якуб.» приезжает к больному отцу; последний умирает, и его «театральные» похороны производят сильное впечатление на Алину. «Якуб.» допущен в круг «Коре-ых», и Алина обращает на него свое кокетство. Гранев, отодвинутый на задний план, «начинает его ненавидеть». У них с «Якуб.», кроме того, повидимому, и старые счеты: «Якуб.» когда-то его «ограбил» — неясно, в карты ли или иным образом. Отмечается, что у «Якуб.», да и у Гранева, много друзей-черкесов из горских аулов; на связь между ними указывают «уздени», «кунак» и «казачка-черкешенка» II, III и IV планов.[1] «Якуб.» сватается к Алине, через ее брата, но получает отказ. Тогда, после бала или во время переезда с Горячих вод на Холодные (т. е. из нынешнего Пятигорска в Кисловодск), он с помощью своих друзей-черкесов похищает Алину и увозит ее в горы. За ним в погоню отправляется Гранев — бывший раньше пленником горцев и сохранивший среди них кунака.[2] Героиня освобождена — и между Граневым и «Якуб.» (а по другому варианту — между «Якуб.» и ее братом) происходит дуэль, в которой «Якуб.» погибает.

Такова — схематически и совершенно условно — фабула повести.

---

[1] Связи русских офицеров с горцами осложняются тем, что кунак «Якуб.», пленитель Гранева — брат «казачки-черкешенки», и она-то содействует освобождению Гранова из горского плена.

[2] Возможно и такое построение (ср. план III): «Якуб.», желая похитить Алину, предает Гранева горцам; Гранева освобождает «казачка-черкешенка» и он, появившись своим на водах, предупреждает похищение и вызывает «Якуб.» на дуэль.

Реконструируя ее, мы не утверждаем, что именно такова была бы повесть, если бы Пушкин ее написал: наверное, в процессе творчества сюжетное ее построение могло совершенно измениться, на что указывают и колебания поэта в разрешении темы, вплоть до перенесения момента поединка раньше похищения героини, при чем «Якуб.» от поединка уклонился, и даже вплоть до полного изменения конца: похищение должно было удаться, и «Якуб.» (вероятно, вместе с похищенной девушкой) появился в Москве, — что должно было начать новую фазу повествования, но было отброшено автором и не развито (в плане V, наиболее уклоняющемся от общей схемы). Мы подбираем лишь те основные линии, которые можно проследить во всех или в большинстве планов, как более или менее выкристаллизовавшиеся моменты. Отсюда и отвлеченность, и чисто-фабульный характер нашей схемы. Ближайший анализ планов и раскрытие некоторых их особенностей позволяют до известной степени наполнить живою тканью сухую фабульную схему и сделать дальнейшие выводы о характере произведения Пушкина.

Действующие лица повести располагаются следующим образом: в центре — Московская семья «Коре-ых» (в наброске начала повести — Томских); мать (в планах не названная, в наброске — Катерина Петровна), сын (в одном плане обозначенный именем Pelham) и дочь (в одном плане Марья, в остальных Алина, Александрина, в наброске — Маша)[1]. Она — героиня романа, и из за нее борются двое соперников: Гранев и «Якуб.» (в одном плане — «Куб.»). Вокруг них несколько второстепенных персонажей, участвующих в действии: отец «Якуб.», умирающий паралитик; два лекаря — немец Адам Адамович Шмидт и малоросс Хлапенко (или Хохленко); генерал и генеральша Мерлины с воспитанницей; майор Курилов, друг Гранева.[1] Далее, наконец, множество лиц, частью играющих активную роль (купак, друг Гранева; казачка-черкешенка и ее брат, купак «Якуб.»), частью составляющих фон, на котором развертывается действие: больные (в числе их «откупщик»), дамы, «зрелые невесты», банкометы, офицеры, казаки, горцы и проч.

A priori можно сказать, что замысел, со всеми его действующими лицами, с характерными подробностями жизни на водах

[1] В одном из планов (II) Пушкин, как указано выше, меняет его фамилию на «Курисов».

(балы, гулянья, толки, кавалькады к Бешту, нападения горцев, любовные истории и похищения) — представляет результат непосредственных, живых наблюдений, а действующие лица, — по крайней мере второстепенные, составляющие статический фон, — отражения виденных и запомнившихся типических образов Кавказа. Пушкин, как известно, дважды был на Кавказе и оба раза — на Кавказских водах: первый раз — в 1820 году, с Раевскими (с начала июня по 5 августа), второй раз — в 1829 году, один день в мае на пути в Тифлис и в армию, а потом — почти целый месяц на обратном пути из Арзрума (с 12 или 13 августа по 8 сентября). «Кавказский Пленник», «Галуб», «Путешествие в Арзрум» явились крупными памятниками первого и второго пребываний поэта на Кавказе. Отражение их мы находим и в некоторых письмах 1820—1821 годов[1] и более всего — в двух строфах «Путешествия Онегина». Но в общем, автобиографические свидетельства Пушкина очень скудны, и замысел Кавказской повести показывает больше, чем эти данные, насколько глубоки были восприятия виденных сцен и типов.

В замысле 1831 года, несомненно, сильнее всего отразились впечатления от пребывания на водах в 1829 году, ближайшего по времени. Так, характерно двукратное упоминание (в плане II) о картежной игре, о «банкометах», сотрудниках (?) «Якуб.»: мы знаем, что для Пушкина жизнь на водах в 1829 году ознаменовалась большою игрою с небезупречными игроками — Дуровым и Астафьевым — и крупным проигрышем.[2] Разнообразное и многочисленное общество на водах также скорее соответствует обстановке 1829, чем 1820 года. Но, с другой стороны, достаточно ярки были и впечатления 1820 года, когда воды еще сохраняли свой полу-дикий, своеобразный вид, далекий от европейского комфорта; об утрате ими «прежнего дикого состояния» жалел Пушкин в 1829 году:[3] тревоги и нападения горцев, играющие значи-

[1] К брату Л. С. Пушкину, от 24 сентября 1820 года, и к Н. И. Гнедичу, от 24 марта 1821.

[2] Записки М. Н. Лунина — Л. Н. Майков. «Пушкин», С.-Пб. 1899, стр. 392—394, и «Русский Архив» 1908 г., кн. III, вып. 12, стр. 547—548.

[3] Вспомним выразительные строки в письме Н. Н. Раевского-старшего к дочери, Ек. Н. Раевской, из Горячеводска (будущего Пятигорска), от 13 июня — 6 июля 1820 года: «... часто прихожу заблаговременно пользоваться с галлереи видом напримятнейшим гор и забавным сего селения и жителей, каррикатурных экипажей, пестроты одеяний; смесь калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних жителей и приезжих — всё это под вечер движется, встречается, рас-

тельную роль в замысле, как раз к 1829 году, под влиянием русских побед над Персией и Турцией, стали редки и случайны; наоборот, 1817—1821 годы были, по словам историка Кавказских войн,[1] особенно отмечены смелыми набегами кабардинцев. Желанием перенести действие повести в боевой, беспокойный период, когда легче было развернуть мотивы набегов и похищений, объясняется отчасти, как кажется, дата «181' год», поставленная Пушкиным в начало повествовательного наброска. Наконец, имена, которыми обозначены в планах действующие лица повести, принадлежат одинаково и первому, и второму Кавказским периодам жизни Пушкина.

Обозначение персонажей замышляемого и разрабатываемого произведения именами действительно-живущих, реальных лиц — прием, в разном функциональном значении не раз встречающийся у Пушкина. В иных случаях имена означают прототипов — житейских или литературных, — имевшихся в виду при построении замысла. Таковы имена персонажей, окружающих героя в широкоразработанных планах «Русского Пелама»: гр. Завадовский, Орловы, Истомина, Чиколей (Кочубей) и его дочь и многие другие, начиная с условного литературного обозначения самого героя — «Пелам»; таков Шванвич — будущий Швабрин, а вначале синкретический герой «Капитанской дочки», а также Башарин других планов того же романа, как первоначально обозначался Гринев, да и сам Гринев, — всё имена лиц исторических из эпохи Пугачевского бунта. Таков Дубровский, фамилия которого взята, как кажется, из Псковской старины, сначала же называвшийся Островским, по имени реального помещика, историю которого рассказывал Пушкину Нащокин. Тот же прием, но в несколько ином творческом значении, применен в раннем плане комедии, где действующим лицам приданы имена актеров Петербургской сцены, которые должны были их изображать (Валберхова, Сосницкий и т. д.). И здесь, и там — технический прием, имеющий значение вспомогательного в творческом процессе, при разработке замысла.

ходится, сходится и всё до безделицы с галлорей новых вами глазам вашим открыто» (М. О. Гершензон, «Мудрость Пушкина», М. 1919, стр. 182; «Архив Раевских», том I, стр. 523).

[1] См. у В. Потто: «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях», том II, изд. 2, С.-Пб. 1887, стр. 392—408. Ср. у Д. В. Ракович: «Тенгинский полк на Кавказе», Тифлис, 1900, стр. 42 и след.

Он вовсе не указывает на полную портретность или биографическое, фабулярное соответствие исторической правде того или иного лица; но представляет автору известный комплекс характерных черт, используемых в ту или иную сторону, в плане сюжетном или статическом. На реальном материале строятся, типизируясь в творческом сознании, действующие лица художественного произведения. Когда же замысел отливается в законченные формы, когда схема облекается в живую художественную ткань, — имена-клички отбрасываются и заменяются другими, нейтральными.[1]

Тот же прием применен и в замысле Кавказского романа: большая часть действующих лиц названа именами, принадлежащими лицам, существовавшим и известным Пушкину. Подставляя под эти условные обозначения то, что нам известно об их живых носителях, мы можем точнее и глубже определить, чем должен был стать Пушкинский замысел.

Начнем с периферии — с имен второстепенных. Не все они раскрываются, хотя можно думать, что более детальное изучение обстановки и окружения, в которых Пушкин жил на Кавказе, помогло бы раскрыть и эти неизвестные имена, для определения которых не хватает пока материала. Неизвестен нам доктор-немец, Адам Адамович Шмидт. В фамилии его коллеги, врача-малоросса, Пушкин сам колебался: Флобенко, Хлопенко или Хохленко. Но его характеристика («поэт, игрок, воин, musard, любопытный» — план VI) некоторыми чертами напоминает спутника Раевских в их путешествии на Кавказ и в Крым в 1820 году — врача Е. П. Рудыковского, участника войн 1812—1815 годов и стихотворца, одного из ранних украинских поэтов.[2]

Упоминаемый в планах I, II и III «майор Курилов, начальник казачьего отряда», также принадлежит к воспоминаниям 1820 года: как раз в это время майор Курило I (Иван Алексеевич), будучи командиром 3 батальона Тенгинского пехотного полка (а не казачьего отряда, — как у Пушкина), расположенного вокруг крепости Константиногорской, в Горячеводске и Кисловодске, был кордонным начальником участка, по линии впереди Минеральных вод. В то же время майор Курило являлся смотрителем «кислых минеральных вод», почтмейстером и председателем строительной комис-

[1] Хотя, как мы видим на примерах Дубровского и Гринева, исторически-далекие и мало-индивидуальные имена могут и сохраняться в неприкосновенности.

[2] См. о нем «Русск. Биогр. Словарь», статью Б. Л. Модзалевского.

спи для устройства ванн.[1] По словам историка Тенгинского полка, майор Курило I «был отважный партизан, чрезвычайно хорошо применившийся к способу ведения войны с горцами. Врасплох застать его было нельзя, он был всегда наготове встретить неприятеля и, в свою очередь, очень удачно и неожиданно для горцев с небольшой командой проникал за Кубань, быстро и скрытно пробирался к аулам и производил там ужас наводящий погром. Действительно, имеем Курило горцы пугали детей, а солдаты, наблюдая с постов за столбами дыма в горах, играли словами: «Ну! наш Курило закурил!». Он особенно как-то умел изворачиваться в трудных обстоятельствах и предусмотреть неожиданности...».[2] Курило был старый Кавказский офицер, и Пушкин, живя в 1820 году в расположении его батальона, должен был знать и запомнить его характерную фигуру. От него он мог слышать много рассказов о горцах, их правах и нападениях. Всё это пригодилось ему при создании Кавказской повести: Курило занял в ней место второстепенное, но важное — друга офицера Грапева, влюбленного в героиню.

Так же раскрываются имена «генерала и генеральши Мерлиных». Речь идет, несомненно, о генерале Станиславе Демьяновиче **Мерлини** (в некоторых источниках пишется Мерлиний) и его жене Екатерине Ивановне, девичья фамилия которой нам неизвестна. Служба генерала Мерлини прошла почти целиком (по крайней мере, с 1809 года) на Кавказе и в Закавказьи. Он был не столько боевым, сколько административным деятелем и не принадлежал к числу прославленных героев Кавказских войн.[3]

[1] Д. В. Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе» (под редакцией г.-м. Потто), Тифлис. 1900, стр. 11, 14, 38—39. Последнюю должность, впрочем, командир 3 батальона занял, кажется, лишь с 1821 года.

[2] См. назв. соч., стр. 46 — 49; там же — приложения, стр. 61, сведения о службе Курилы. — Ср. В. Потто, «Кавказская война...», том II, стр. 411 и след. Мужество и сметливость Курилы в борьбе с горцами в Закавказьи (под Ананауром) отмечены еще в 1819 году, когда он был капитаном Суздальского пехотного полка, переименованного в 1819 г., после переформирования, в Тенгинский пехотный («Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею», том V, стр. 365).

[3] О ген. Мерлини см. «Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссией», томы IV, V и VII; «Списки генералам, штаб- и обер-офицерам всей Росс. армии» (напр. 1829, стр. 670); Н. Дубровин, «История войны и владычества русских на Кавказе», С.-Пб. 1888, том VI, стр. 137; Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе», стр. 100—101. Станислав Демьянович Мерлини происходил из поль-

Более интересна для нас, чем сам генерал, его жена, Екатерина Ивановна. Служба ее мужа в 1820-х годах была связана с Георгиевском и с Минеральными водами; Горячеводск (с 1830 года названный Пятигорском) служил ей постоянной резиденцией. Уже в 1823 году ген.-майор Мерлини обладал в Горячеводске одним из самых больших и богатых домов; часть его отдавалась в наем приезжающим на воды, часть была занята лучшими лавками и поселении.[1] Положение четы Мерлини в Горячеводском обществе было видно и значительно и таким сохранялось и в 1830—1840-х годах, когда салон Е. И. Мерлини стал одним из центров светской жизни на водах. Имя ее мелькает в воспоминаниях многих лиц, посещавших Кавказские воды; в спутанном круге рассказов, легенд и сплетен, окутывающих последние дни жизни Лермонтова, генеральша Мерлини играет значительную роль — аналогичную, до известной степени, роли графини Нессельроде в последней дуэли Пушкина: говорится о руководимой ею интриге, о кружке «мерли-

ских дворян, родился в 1775 году; в 1798 г. из польской службы перешел поручиком в л.-гв. Преображенский полк, в 1806 был полковником, с 30 VIII 1816 генерал-майором, в 1830 — генерал-лейтенантом; участвовал в войне 1806—1807 года (Прейсиш-Эйлау), с 1810 г. управлял Имеретиею и Мингрелиею; с 1816 года командовал разными частями войск; участвовал в Персидской войне 1826—1827 г. Скончался 19 августа 1833 года, 58 лет, и погребен в Пятигорске (В. И. Чернопятов, «Некрополь нескольких мест Кавказа», М. 1913, стр. 41). Следует упомянуть, что 1 мая 1829 года генералу Мерлини, командовавшему войсками на русско-персидской границе, довелось встречать в Аббас-Абаде, при переправе через Аракс, и на другой день, при въезде в Нахичевань, гроб с телом Грибоедова, который везли из Тегерана в Тифлис. См. «Акты Кавк. Археогр. Ком.», том VII, стр. 696 и 697; то же — «Русская Старина» 1872, том VI, стр. 200—201.

[1] По словам составленного в 1823 году описания Кавказских вод, «из магазинов и лавок [в Горячеводском селении] достопримечательны находящиеся в доме Генерал-Майора Мерлини. В числе [их] в 1823 году была Итальянская лавка с галантерейными вещами и другими тому подобными товарами. Здесь имелись лучшей работы бронза, фарфор, золотые и серебряные вещи, многие дорогие ткани, шелковые и бумажные товары. Подле одной находилась Греческая лавка, с лучшими винами, где можно было получать старую мадеру, французские и немецкие вина, также Санторинское и почти все Архипелагские и наши отечественные вина по ценам не слишком высоким»... «Домы частных лиц, выстроенные для отдачи в наймы, довольно чисты и покойны. Кроме одного каменного дома все прочие деревянные в один этаж. Из них в особенности отличаются по красоте архитектуры и своей величине дома гг. Реброва, Мерлини... и другие...» («Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание Кавказских минеральных вод, сочиненное Александром Нелюбиным». Книга 2, С.-Пб. 1823, стр. 646—649).

шистов», задавшемся целью погубить Лермонтова, и проч.[1] Так это или не так, — но из ряда свидетельств мы можем всё же составить себе понятие об этой видной и своеобразной фигуре. Так, Г. И. Филипсон, один из наиболее достоверных Кавказских мемуаристов, вспоминая о жизни своей на водах в 1836 году и о нападении горцев на Кисловодск, рассказывает: «Из первых на тревогу явилась *известная в то время* генеральша Мерлина, верхом, по-казачьи, с шашкой и нагайкой, которой чуть не досталось старику Федорову [офицеру гарнизонной артиллерии]. Наконец, открыли огонь ядрами. Тут наездница выказала замечательные тактические соображения. Она закричала на Федорова: «Старая крыса, стреляй гранатами вперед неприятеля, а когда разрыв снарядов остановит толпу в ущелье, валяй картечью». Старик сказал: «Слушаю, матушка, ваше превосходительство»; но выстрелов гранатами не последовало, горцы были уже далеко».[2] То же повторяет, с некоторыми неточностями и дополнениями, Н. П. Раевский, современник дуэли Лермонтова, описывая жизнь на водах: «Мы... часто бывали у генеральши Катерины Ивановны Мерлини, *героини защиты Кисловодска* от черкесского набега, случившегося в отсутствие ее мужа, коменданта Кисловодской крепости. Ей пришлось самой распорядиться действиями крепостной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг государь Николай Павлович прислал ей бриллиантовые браслеты и фермуар с георгиевскими крестами».[3] И далее он вспоминает: «Часто устраивались у нас кавалькады, и генеральша Катерина Ивановна почти всегда ездила с нами верхом по-мужски, на кавацкой лошади, как и подобает георгиевскому кавалеру». А по словам другого кавказца, позднее, уже в 1847 году, — «любители виста и преферанса проводили время в доме гостеприимной старушки Екатерины Ивановны Мерлини».[4]

[1] См. статьи П. К. Мартьянова: «Последние дни жизни поэта М. Ю. Лермонтова» — «Исторический Вестник» 1892 г., февраль, стр. 432; март, стр. 701, 703, 708—709; апрель, стр. 84; другая его статья — там же, 1895 г., июнь, стр. 824.

[2] «Русский Архив» 1883 г., кн. III, стр. 173.

[3] «Нива» 1885 г., № 7, стр. 167. Здесь расхождение с данными Филипсона: последний относит нападение горцев к 1836 году, т. е. уже после смерти генерала Мерлини, Раевский же говорит об отсутствии генерала. Мы должны более верить Филипсону.

[4] И. И. Дроздов, «Записки Кавказца» — «Русский Архив» 1896 г., кн. III, стр. 222.

Наиболее ценным для нас является, однако, помимо всех этих данных, свидетельство Михаила Ивановича Пущина. Рассказав о пребывании на Кавказских водах, вместе с Пушкиным, в августе и сентябре 1829 года, он отмечает: «В Горячеводске я познакомился с генералом Мерлиным и с *оригинальной его супругою*, Екатериною Ивановною, женщиной уже немолодой».[1] Из контекста неясно, произошло-ли знакомство с Мерлини во время пребывания Пушкина на водах, или после его отъезда. Но что Пушкин, если и не знал их лично, то, во всяком случае, много слышал о них, — это показывают планы его Кавказской повести. Оригинальная личность Ек. Ив. Мерлини остановила его внимание: она, вместе с мужем, упоминается в двух планах — I и II, в числе жителей вод, и при том с характерными подробностями: «Генерал-баба» II плана — несомненно, муж Ек. Ив., генерал-майор Мерлини — и таким он мог, конечно, казаться рядом со своею мужественною супругою; а «воспитанница Генеральши — чувствительная сводня» играет в том-же плане какую-то роль в истории героини с Гриневым и с «Якуб.», — что также характеризует и самоё генеральшу. Так, встретив в Пятигорске своеобразную представительницу Кавказского военного мира, Пушкин дал ей место в своем повествовательном замысле, в числе хотя и второ-рых персонажей, но играющих активную роль в развитии интриги.[2]

Обращаясь к центральным фигурам замысла, мы видим три имени: Московскую семью «Корс-ых» и двух соперников — Гринева и «Якуб.». О Гриневе ничего определенного сказать мы не можем: лицо с такой или близкой фамилией нам неизвестно. Но офицер — раненый, побывавший в плену у горцев, самоотверженный и бесхитростный, каким Гринев является в планах — был не редкостью в Кавказских войсках, и Пушкин мог наблюдать немало таких людей и во время Арзрумского похода, и живя на водах, среди раненых и лечащихся офицеров. Индивидуальный облик

[1] «Русский Архив» 1908, кн. III, стр. 348. В воспоминаниях М. И. Пущина, напечатанных Л. Н. Майковым («Пушкин». СПб. 1899, стр. 387—394) нет упоминания о Мерлини.

[2] Мы остановились так подробно на лицах второстепенных — Курилове, Мерлиных — потому, что они слишком малоизвестны; раскрытие их требует, как видно, некоторых разысканий, а между тем показывает, насколько внимательно наблюдал Пушкин окружающую обстановку и как использовал ее наиболее ярко, совершенно конкретные явления для создания художественных образов.

Гранева от нас, таким образом, ускользает.[1] Совершенно иное мы находим в двух других именах героев: в тех, кого Пушкин *сокращенно*[2] называет «Якуб.» и «Корс-вы».

Раскрываются они легко и совершенно бесспорно. «Якуб.» (или, в одном плане, «Куб.») есть несомненно Александр Иванович Якубович (1792—1845), столь памятный в 1820-х годах: сначала — гвардейский офицер, повеса и бреттёр, за участие в дуэли Завадовского с Шереметевым высланный на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк; в 1818—1824 годах — кавказский герой, прославленный своими подвигами и похождениями, окруженный легендами, пользовавшийся безграничным авторитетом как в Кавказских войсках, так и среди горских народов, уважавших в нем смелость, мужество, честность и верность слову; в 1825 году декабрист, самый решительный сторонник цареубийства, но не революционер по убеждению, поколебавшийся в ответственную минуту; наконец — заключенный в Петропавловской Крепости, в Нерчинских рудниках, в остротах Читы и Петровского завода: таков был его путь к 1831 году.[3] Самая наружность его носила все черты романтического героя. По словам встречавшего его в Петербурге, незадолго до 14 декабря, П. А. Каратыгина, «он был высокого роста, смуглое его лицо имело какое-то свирепое выражение: большие черные, на выкате глаза, словно налитые кровью, сросшиеся черные брови, огромные усы, коротко остриженные волосы и черная повязка на лбу, которую он постоянно носил в то время, придавали его физиономии какое-то мрачное и вместе с тем поэтическое значение. Когда он сардонически улыбался, белые, как слоновая кость, зубы блестели из-под усов его и две глубокие, резкие черты появлялись на его щеках, и тогда эта улыбка принимала какое-то зверское выражение...».[1]

Пушкин мог знать его еще в 1817 году, до дуэли Шереметева с Завадовским: Якубович тогда был членом, хотя и не долговременным, общества «Зеленая Лампа»; подробности несчастной дуэли были Пушкину хорошо известны — они отразились, много лет спустя, в планах «Русского Пелама»; должен был знать он и о дуэли его с Грибоедовым, а о Кавказских делах мог слышать от Н. Н. Муравьева или от Н. Н. Раевского, с которыми встречался во время похода в Арзрум, и от всех других старых Кавказцев, в особенности Нижегородцев: слава о его подвигах держалась среди них долгие годы.[2] Образ Якубовича давно занимал поэта. В конце 1825 года, за две недели до декабрьского возмущения, он, в письме из Михайловского к А. А. Бестужеву, спрашивал по поводу одной статьи в «Северной Пчеле»: «К статье: кто писал о горцах в Пчеле? вот поэзия! Не Якубович ли, *герой моего воображения?* когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, пристреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. — *В нем много, в самом деле, романтизма.* Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде — поэма моя [т. е. «Кавказский Пленник»] была бы лучше».[3] Этот «романтический» образ Пушкин и думал воплотить

---

[1] Отыскание прототипа Гранева среди Кавказских знакомых Пушкина помогло бы определить его индивидуальные черты, которых он, в планах Пушкина, почти совершенно лишен. Быть может, отыскать его возможно, но вряд-ли нужно: несомненно, что Пушкин в его лице стремился дать тип среднего, простого русского человека из средне-дворянской и военной среды, противополагая его другому герою — «Якубу».

[2] Характерно и важно для нас, что Пушкин только эти два имени приводит всегда в сокращенном, завуалированном виде, ни разу их не развертывая, как это делает с остальными.

[3] Сводки биографических данных об А. И. Якубовиче дают «Русский Биографический Словарь», «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского (том I, Лгр. 1926, стр. 527—529), «Алфавит декабристов» под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса (издание Центрархива — «Восстание декабристов», том VIII, стр. 430); «Дело» Якубовича-декабриста издано там же (том II, стр. 272—304). Много рассказов (к сожалению, без указания источников) о боевой деятельности Якубовича на Кавказе собрано в книге В. А. Потто: «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» (том II, изд. 2, С.-Пб. 1887, стр. 298, 431—433, 439, 469—473, 475—476, 478—479, 502 и друг.) и в сочинении того же автора «История 44 драгунского Нижегородского полка» (том II, С.-Пб. 1893, стр. 165—167). См. также в дневнике Н. Н. Муравьева («Русский Архив» 1886 г., кн. III, стр. 331—335 и след.), дающего восторженную характеристику Якубовича, в «Записках декабриста» бар. А. Е. Розена, С.-Пб. 1907, стр. 220—221 и др. Ср. в книге С. В. Вознесенского: «Библиографические материалы для словаря декабристов», Лгр. 1926, стр. 142—143. Юбилейная литература о декабристах дала для А. И. Якубовича очень мало — почти ничего: ср. в указателе ее, составленном Н. М. Ченцовым («Вестник Коммунистической Академии», 1927 г., №№ 16, 18 и 19 и отд.).

[1] «Русская Старина» 1873 г., том XII, апрель, стр. 730—737, и отд. изд. «Замысок», С.-Пб. 1880, стр. 138 и след.

[2] Ср. в письмах А. А. Бестужева с Кавказа к братьям в Сибирь в 1835—1836 годах: «Линейцы молодцы; все очень помнят Александра Ивановича [т. е. Якубовича]; черкесы тоже. Но все те, которым кланялся, кроме Атажука, или умерли, или убиты...»; «Александра Ивановича вспоминают многие Черкесы, и те которые *за*, и те которые *против* него дрались. Мастер был он пепить боевую пыль» («Русский Вестник» 1870 г., № 7, стр. 61 и 66).

[3] «Переписка Пушкина», изд. Академии Наук, том I, стр. 308; «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, ГИЗ, том I, Лгр. 1926, стр. 169.—Курсив наш.

в повести 1831 года, выведя его (конечно, только в плане общей характеристики, а не как историческое лицо) очень схожим с оригиналом образом: герой, окруженный ореолом таинственности и легендарной славы, должен был восхищать обитательниц вод и возбуждать романтические мечтания у Московской барышни; он — друг черкесов, помогающих ему; он бреттёр и ни перед чем не останавливающийся похититель; вместе с тем любитель театральных эффектов и красивых поз, делающий даже из похорон своего отца одно «кокетство». Всё это согласуется с характеристикой А. И. Якубовича, но воспринятой под особым углом зрения, о чем придется говорить ниже.[1]

Московское семейство, выступающее под именем «Корс-вых» — мать и ее дочь, героиня повествования — определяется для нас так же ясно. Это — очень известная в Московском обществе первой трети XIX века Марья Ивановна Римская-Корсакова и ее дочь Александра Александровна, по *домашнему* Саша, у Пушкина — Алина. Нет надобности характеризовать здесь подробнее семейство Римских-Корсаковых: книга М. О. Гершензона, ему посвященная,[2] основанная на материалах семейной переписки, дает выпуклое и яркое изображение его истории и быта и характеристику его представителей. Там же подобраны факты, указывающие на знакомство Пушкина с Корсаковыми.[3] Они почти все относятся как раз к Александре Александровне: в зиму 1827 года Пушкин, повидимому, был несколько ею увлечен; следы этого увлечения и каких-то вызванных им трений чувствовались еще почти два года спустя, в конце 1828 года; памятником его оста-

[1] Мы не знаем, приезжал ли на воды, к сыну, отец Якубовича — крупный Полтавский помещик; во всяком случае, он был еще жив в 1826 году. Сам А. И. Якубович бывал на водах в 1822 и в 1824 годах, а быть может и еще когда-нибудь. Но, повторяем, нельзя искать в изображении Пушкина биографических соответствий: имеют значение лишь соответствия типов. Нужно отметить, что любовь к эффектным положениям и красивым фразам, а также сильно-развитое самолюбие, толкавшее на необычайные поступки — знал за собою сам Якубович: этими чертами он даже пытался объяснить свое участие в заговоре декабристов и тем ослабить свою виновность в глазах Следственной Комиссии.

[2] «Грибоедовская Москва», М. 1914; 2 изд., М. 1916. См. так же «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, том I, Лгр. 1926, стр. 269, и том II, Лгр. 1927, стр. 242—243, и книгу П. А. Гастфрейнда: «Товарищи Пушкина по Царскосельскому Лицею» том III, С.-Пб. 1913, стр. 465—477.

[3] Изд. 2, М. 1916, стр. 138—142; ср. в статье Н. О. Лернера: «После ссылки в Москве» — Сочинения Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, том III, стр. 344.

лась, по словам кн. П. А. Вяземского, дважды им повторенным,[1] одна строфа в «Евгении Онегине» — LII-ая VII главы:

> *У ночи много звезд прелестных,*
> *Красавиц много на Москве . . . .* и т. д.

Известно, что М. И. Корсакова *совершила два* путешествия на Кавказские воды: в 1823 году — одна, и в 1827—1828 годах — с двумя дочерьми и сыном. От первого путешествия не осталось документальных следов. Но о втором мы знаем и из переписки Пушкина, через М. И. Корсакову посылавшего письмо брату Льву[2] и из писем А. Я. и К. Я. Булгаковых.[3] А. Я. Булгаков писал, между прочим, 8 июля 1828 года, т. е. на второй сезон пребывания Корсаковых на Кавказе: «Слышал ли ты, что горцы сделали набег на всех ехавших от теплых вод на кислые. Тут попалась и М. И. Корсакова, которая была ограблена до рубашки, а какого то полковника убили. У *Корсаковой ни минуты без авантюров*».[4] А К. Я. Булгаков писал о том же: «Из Москвы уже пишут, что не только Корсакову ограбили, но увели у нее дочь и всех людей. Дело сбыточное, если справедливо нападение горцев». Тот же А. Я. Булгаков писал осенью этого года, уже по возвращении Корсаковых в Москву: «Волков [зять М. И. Римской-Корсаковой] рассказывал, как Магометанский какой-то князек с Каспийского моря покупал Корсакову дочь, а потом хотел увезти, потом сватался с тем, что она может сохранить свою веру; но с Турками негоциации редко удаются»... И в позднейшем *письме*, *рассказывая о приезде в Москву* «генерала Шамхала Тарковского», он пояснял: «Этот тот самый, который, помнишь, когда М. И. Корсакова была на Кавказе, сватался за дочь ее Александрину, предлагая тотчас 300 т. рублей задатку»... Пушкин должен был слышать в Москве (а быть может еще и на

[1] «Русский Архив» 1867 г., стр. 1067 (перепечатано в «Сочинениях», том VII, стр. 170) и 1887, кн. III, стр. 378.

[2] «Письмо мое доставит тебе М. И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. *Приезжай на Кавказ [по Грузии] и познакомься с нею — да* прошу по влюбиться в дочь» («Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, том II, Лгр. 1927, стр. 35); *письмо помечено 8 мая* [1827 г.]. С Корсаковой были две дочери — Александра и Екатерина; речь у Пушкина здесь идет, конечно, об Александре — известной красавице.

[3] «Русский Архив» 1901 г., кн. III, № 10, стр. 173, 175, 190, и № 11, стр. 359; 1903 г., кн. III, стр. 129.

[4] Напомним заметку II плана, приурочивающую похищение Алины к моменту «во время переезда из Горячих (во,) на Холодные».

Кавказе) все эти рассказы — и они могли ему послужить при обдумывании повести. Что же касается самой Александрины, то всё, что мы о ней знаем, рисует ее, как своеобразную, очень не-заурядную, сильную и сдержанно-страстную девушку, — вспомним описанный в книге М. О. Гершензона ее краткий и драматический роман с графом Н. А. Самойловым и приводимые там же другие факты, характерные для нее.[1]

Очень естественно, что Пушкин вспомнил о Корсаковых, обдумывая свою повесть и отыскивая, в знакомых ему кругах, женский тип, пригодный для создания романической героини. Можно несомненно утверждать, что задуманный им образ не всеми чертами совпадал со своим прототипом: кокетство Алины, на которое настойчиво указывают планы Кавказской повести, вовсе не характерно для А. А. Корсаковой, — по крайней мере, по данным, приводимым М. О. Гершензоном. Но внешнее ее описание, данное в повествовательном наброске («девушка лет 18-ти, стройная и высокая, с бледным, прекрасным лицом и черными огненными глазами»), вполне приложимо к Александрине Корсаковой — только года за четыре до ее знакомства с Пушкиным. В соответствии с ранним возрастом героини, действие повести перенесено на десятилетие раньше действительного путешествия Корсаковых на Кавказ: это могло быть сделано как по соображениям исторической правды, чтобы дать больше возможности и простору для авантюрного элемента повести, так и для того, чтобы не слишком явно напоминались ее прототипы.

Вместе с матерью и сестрами Корсаковыми ездил на Кавказ в 1827 году и брат Александрины, Григорий. Тот же А. Я. Булгаков так описывает его, по возвращении с Кавказа: «Гриша Корсаков представляет совершенного Fra-Diavolo... усы отпущены на божию волю, а royale такая, что бороды не видать. Я понимаю, что на Кавказе он слыл Адонисом и даже Бельведерским красавчиком, но здесь Москва, и Волков советует ему обрить всё это»... Григорий Корсаков, светский приятель Пушкина в 1828—1831 годах, мог дать материал для обрисовки фигуры «брата» героини. Замечательно, что в одном из планов (II) брат обозначается именем «Pelham». Это обозначение — не только реминисценция из недавно-прочтенного романа Бульвера, который произвел на Пушкина значительное впечатление и вспоминался им не раз, отразившись

[1] «Грибоедовская Москва», 2 изд., стр. 122—135.

наконец в замысле большого романа из русской жизни, подобного ему.[1] Имя Пелама имеет в «Кавказском» замысле двоякое значение: оно служит с одной стороны характеристикою действующего лица, брата героини, т. е. Григория Р.-Корсакова, который, подобно Пеламу, под внешностью светского кутилы и беспутного гвардейского офицера скрывал образование и культуру европейца с прогрессивными идеалами: недаром он был членом Союза Благоденствия и лишь долгое заграничное путешествие в 1823—1826 годах спасло его от Верховного Уголовного Суда.[2] В таком случае, указание на Pelham может иметь и композиционное значение в замысле повести. Пелам английского романа — свидетель и активный участник борьбы между Реджинальдом Глендиллем и Джоном Тирелем — соответствует в некоторой степени брату героини Кавказского романа, свидетелю и участнику борьбы и мщения за любимую девушку между «любовником» Граневым и похитителем «Якубовичем». Но такое соответствие, однако, гадательно и шатко. Правильнее видеть в помете о Pelham'е нечто иное, — именно, — только общее указание на тот повествовательный жанр, в котором Пушкин ду-

[1] «Pelham», появившийся в 1827 году, вскоре, повидимому, стал известен Пушкину и заинтересовал его. По крайней мере, уже в набросках «романа в письмах», писанных вероятно в 1829—1830 годах, именем «леди Пельгам» названа какая-то «заезжая англичанка», упоминаемая среди лиц Петербургского света. А. П. Керн, в отрывке воспоминаний, писанном для П. В. Анненкова, утверждает, что Пушкин «очень любил Бульвера, цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал...» («Пушкин и его современники», вып. V, стр. 135). Трудно установить время, к которому относится это показание, — но достоверность его, как вообще достоверность рассказов А. П. Керн, — не подлежит сомнению. К позднейшему времени относятся планы и набросок начала «Русского Пелама», которого постигла участь, одинаковая с «Кавказским романом». Однако, датировка этого замысла, обычно принятая: 1833 год — по нашему мнению является спорной и, вероятно, слишком поздней.

[2] «Алфавит декабристов» («Восстание декабристов». Материалы Центрархива, том VIII), М. 1925, стр. 163 и 387. Вообще, многие из окружавших семейство Р.-Корсаковых были причастны к декабрьскому движению: в «Алфавите декабристов» упоминаются и названный выше гр. П. А. Самойлов (стр. 172 и 392) и муж одной из сестер Р.-Корсаковой — Ф. В. Акинфиев (стр. 22 и 268), и будущий муж Александры Ал-ны — князь А. П. Вяземский (стр. 60 и 301), за которого она вышла замуж 12 февраля 1832 года, т. е. вскоре после того, как Пушкин набрасывал свои планы (о предстоящей свадьбе он писал жене из Москвы 8 декабря 1831 года). Кн. А. П. Вяземский был членом Северного Общества и пострадал по делу. Так соприкасались старое Московское братство и либерально, даже революционно-настроенные круги молодежи, что придает они больше оригинальности и яркости прототипам Пушкина.

мал развернуть свою тему и построить характеристики действующих лиц.

Итак, основной замысел Кавказской повести Пушкина очень прост: героиня, поставленная между двумя соперниками — простым любовником и «романтическим» соблазнителем. На соперничестве из-за нее этих двух, различных по типу героев и на конечной гибели одного из них основана драматическая коллизия. Но самые характеры персонажей и обстановка, в которой действие протекает, способствуют осложнению сюжетной схемы. Автор вводит ряд действующих лиц, второстепенных, но участвующих в действии или служащих фоном, на котором последнее развивается. Схема осложняется и рядом вставных эпизодов. Часть из них (приезд на воды, смерть и похороны отца «Якубовича») имеет несомненно сюжетное значение, а некоторые — например, столкновение двух лекарей — вероятно, лишь деталь композиции, требуемая для заполнения фона и обрисовки второстепенных персонажей, может быть также — для задержания вступительной сцены введением комического элемента; вообще, комические фигуры лекарей, возможно, должны были играть некоторую роль в повествовании, контрастируя основному трагическому мотиву. Трагическим характером героя мотивируется ряд эпизодов его прошлого, могущих развиться в целую Vorgeschichte (дружба с горцами, партизанская война или «разбойничество», столкновение с «любовником» за пределами рассказа, в котором играют роль горцы — кунак-черкес и его сестра-казачка, и пр.), а данный лишь в отброшенном намеке эпизод переезда «Якубовича» в Москву мог еще развернуть действие по новому в будущем, ввести в него новых лиц и новые, трудно для нас учитываемые положения. Всё это настолько осложняет простейшую основную схему, так раздвигает ее рамки, что в сюжетном и композиционном отношениях материал, данный в планах Пушкиным, оказывается достаточным для романа — и притом для романа широкого и сложного состава.

В самом деле: на фоне экзотической обстановки развертывается, обусловленный отчасти самою этою обстановкою, авантюрно-психологический сюжет, где главным действующим лицом выступает человек, окутанный дымкой таинственности, в ореоле боевой и «разбойничьей» славы, поражающий внешнею эффектностью и властно отталкивающий своего соперника. Этот герой имеет, таким образом, все внешние аттрибуты байронического героя, но только — героя, испытавшего существенные видоизменения; его образ, за

те десять лет, что прошли от начала Байронического воздействия на Пушкина, преломился сквозь двойную призму: сквозь авторское сознание, очень изменившееся за это время, и сквозь объективно-данный, реальный образ, воплотивший некоторые черты, ранее известные Пушкину лишь в художественном изображении. Байронизм, и как настроение, и как литературное влияние, был уже пройденным этапом; байронический герой был развенчан — и так же развенчан должен был быть в замысле автора герой его повести — лже-романтический герой,[1] прототипом которого служил ложный романтизм Якубовича, сразу и безнадежно потускневший в день 14 декабря, о чем вероятно знал Пушкин — хотя бы от декабристов-кавказцев, с которыми встречался в 1829 году. Антагонистом этому лже-герою является лицо, с не очень ясной в сохранившихся планах характеристикой, но, несомненно, психологически цельное и значительно более простое, чем «Якубович», при чем простота, цельность и крепость его душевной организации противополагаются нарочитой приподнятости, внешней эффектности и ложному романтизму соперника.

Очень пестрая, но по существу пассивная среда, в которой развивается действие (семейство героини и обитатели вод) — служит контрастным фоном для героев с их романическими происшествиями, которые врываются туда бурно и разрушительно. Вместе с тем эта среда — сложное целое широкого социально-психологического охвата, где, как мы видели выше, суммировались ранние (1820) и недавние (1829 года) Кавказские воспоминания Пушкина, впечатления жизни в Москве от семейства Корсаковых и наблюдения над жизнью русской провинции, отраженные, вероятно, в описании общества на водах.

Не случайна та необычайная на взгляд обстановка, какая взята Пушкиным для романа. Кавказ, экзотический русский Восток, привлекал к себе внимание русских байронистов, начиная с самого Пушкина, который первый, в 1821 году, открыл туда путь «Кавказским Пленником». За протекшие со времени его издания 9 лет мотив «пленника» и Кавказская экзотика вообще успели потускнеть и износиться под пером многочисленных подражателей. Для героической темы они уже не годились, — но для широкого развертывания бытового повествования обстановка подходила как нельзя

[1] Мы употребляем здесь термин «романтический» исключительно в его психологическом, житейском значении, тогда вполне определенном, а не в значении литературном, с которым первое отнюдь не совпадает.

более: именно здесь можно было раскрыть вполне характер лже-романтического героя, ввести в действие множество лиц, разнообразнейших представителей русского общества, сведенных вместе случаем на Минеральных водах; здесь можно было построить, не боясь нарочитости, сложный авантюрный сюжет — и, вместе с тем, развернуть его на пестром и типическом бытовом фоне. Легкий абрис такого фона был намечен в строфах IX—XI «Путешествия Онегина». В прозаическом романе намек должен был вырасти в широкую картину, — на что указывают перечисления типов обитателей вод в нескольких планах (I, II, IV, VI), и, таким образом, авантюрная, «разбойничья» тема должна была сочетаться с широким быто- и нравоописательным обрамлением, не без оттенка юмора и общественной сатиры. В этом отношении особое значение приобретает указанная выше ссылка на «Pelham»: бульверовский роман, с его широкими социальными заданиями, с его сочетанием нравоописания, общественной сатиры и авантюрного сюжета, должен был служить Пушкину образцом в своем жанре. Не без влияния на замысел Пушкина могла быть и повесть А. А. Бестужева «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», появившаяся в «Сыне Отечества» в конце 1830 года. В ней — первой по времени напечатания Кавказской повести Марлинского — обстановка гостиницы на водах играет роль обрамления для ряда повелл в мрачно-фантастическом духе, но сама по себе изображена в реальных, даже комических тонах.

Может быть также, выбору необычной композиционной рамки мог способствовать и роман Вальтер-Скотта «Сен-Ронанские воды». Сближение его с замыслом Пушкина было бы слишком беспочвенным, если бы обстановкой «минеральных вод» ограничивались все элементы близости. Но к этому есть и другие основания. Последними разысканиями Д. П. Якубовича установлено, насколько большое значение имело творчество В. Скотта именно для тематики прозы Пушкина около 1830 года.[1] Нет ничего невероятного, что он обратил внимание и на этот, по отзывам критики, второстепенный роман своего любимого автора, ставший известным в России вскоре после выхода в свет — уже в 1824 году[2] и переведенный

[1] См. его статьи в сборнике «Пушкин в мировой литературе» и в настоящем вып. «Пушкина и его современников».

[2] Ср. упоминание о нем у А. А. Бестужева в письме от 21 августа 1824 года — в сборнике Академии Наук «Памяти декабристов», вып. I, Лгр. 1926, стр. 45.

на русский язык с французского в 1828 году (Мих. Воскресенским, в 6 частях). Внимание Пушкина могло привлечь уже то, что роман стоит особняком в творчестве В. Скотта, являясь почти единственным изображением современного быта. Положение главных героев в том и другом романах имеет общие черты: в центре героиня (Клара Мовбрай — Алина Корсакова); из-за нее борются два героя: «злодей», ведущий героиню к гибели (граф Этерингтон — Якубович) и любовник, стремящийся спасти ее (Франц Тирель — Гранев); брат героини (Джон Мовбрай) толкает ее к герою-злодею, на гибель. Развитие действия, правда, идет у Пушкина иным путем и к другому финалу (хотя, согласно одному плану, мстителем за девушку, убивающим «Якубовича» на дуэли, является, как и в романе В. Скотта, ее брат). Но, несмотря на гораздо большую сжатость и насыщенность Пушкинского замысла и на отсутствие в нем, как кажется, элемента сложной семейной тайны, составляющего завязку английского романа и его движущий фактор, оба они принадлежат одному жанру — тому же, к какому, с некоторыми отличиями, принадлежит и «Pelham»: роману авантюрного сюжета, развертывающегося на современном бытовом фоне. Бытовой фон у Пушкина, как и у В. Скотта, должен был играть заметную роль — недаром он с некоторыми подробностями включен в ряд планов; несомненно также, что Пушкин хотел дать бытовому элементу в известной мере комическую трактовку: на это указывает намеченная сцена между лекарями. Оба доктора на Кавказских водах — фигуры комические, так же, как и доктор Куэклебен в «Сен-Ронанских водах». Намеченная в планах и известная нам исторически фигура «генеральши Мерлиной» и ее роль в обществе на водах напоминает фигуру леди Пенелопы Пенфизер в романе В. Скотта. Всё это делает, как кажется, допустимым сближение обоих романов, как произведений одного жанра. Тем не менее приведенные соображения совершенно гипотетичны: у нас нет прямых указаний на знакомство Пушкина с романом В. Скотта и на интерес к нему, а имеющиеся планы не дают материала для вполне определенных выводов.[1]

[1] Отметим любопытную тематическую близость романа В. Скотта с другим произведением Пушкина — с повестью Белкинского цикла «Метель». В обоих завязку составляет необычайное происшествие: тайный брак девушки со своим возлюбленным, при котором происходит подмена жениха другим лицом; следствия этой ошибки определяют дальнейший ход повествования и его финал. Но в то время, как в романе В. Скотта подмена жениха есть результат интриги

Наконец, нельзя не указать на то, что, около 1830 года, вопрос о создании современного «нравоописательного» романа настоятельно требовал разрешения, как очередной и злободневный: жанр этот, как ответвление собственно-исторического романа, был представлен пока почти только одним Ф. В. Булгариным — т. е., в глазах Пушкина, отрицательно и вне-художественно. Противопоставить Булгарину иное, свое, создать новый повествовательный род в большой форме — вот о чем должен был думать Пушкин после опыта малой формы — Болдинских повестей... Но это особый вопрос, на котором здесь нет возможности подробно останавливаться.

Кавказский замысел Пушкина не одинок в его творчестве, но связан с ним глубоко и органически отдельными своими чертами. Роман — как бы фокус, в котором, около 1831 года, собраны детали, типы и ситуации некоторых более ранних и современных ему повествовательных опытов Пушкина: Сильвио и граф в «Выстреле», Владимир и Бурмин в «Метели» — представляют в разных вариантах, с бо́льшим или меньшим приближением, черты его двух главных героев и их взаимоотношения — как бы далеки друг от друга ни были эти повести; образ героини мелькает в отрывке, набросанном в 1828—1830 годах: «Гости съезжались на дачу»...— образ страстной и сильной женщины, долго занимавший Пушкина и в последний раз отраженный в подготовительных очерках 1835 года к «Египетским ночам». Вообще же, введение такого героя, как Гринев, и явное противопоставление его «Якубовичу» знаменательно для последней эпохи творчества Пушкина, от Болдинских повестей до «Капитанской дочки». Это — противопоставление «доброго малого» «демону», с особенною силою выраженное в черновых строфах «Езерского».

его соперника, осложненной рядом предшествующих тайных отношений между действующими лицами, у Пушкина всё — дело случая (или «судьбы») и совпадения обстоятельств. Этим определяется разница в тоне обоих произведений, вплоть до развязки, у В. Скотта — чисто-трагической, у Пушкина — благополучно разрешающей все запутанные отношения и оправдывающей совершенный обман. Пушкинская повесть — снижение и, в некоторых отношениях, пародийное использование темы «романа семейных тайн». Можно указать еще на одно совпадение в тематике того же романа В. Скотта с другою повестью Пушкина — «Барышней-крестьянкой»: в обоих произведениях введен в завязку мотив переодевания героини в платье служанки для облегчения тайных встреч с героем, когда он ходит на охоту, при чем герой сначала не знает, с кем он имеет дело. Это наблюдение сообщено нам Д. П. Якубовичем; ср. ниже, стр. 106.

Замысел Кавказского романа остался незавершенным — потому, вероятно, что большое произведение требовало ряда подготовительных работ, — а они не были, да и не могли быть тогда сделаны. Отдельные элементы его, распавшись, вошли в позднейшие повествовательные построения: «Дубровский» воспринял «разбойничьи» черты романа и внешне-таинственный облик его героя — «Якубовича», а также унаследовал широкий бытовой фон, изображающий современную Россию, только перенесенный в совершенно иную обстановку, лишенную всякого экзотизма; исчезло и общее типовое содержание характеристики главного героя, которое, несомненно, должно было отличать фигуру «Якубовича». Борьба двух героев, из которых один соответствует «Якубовичу», а другой — «любовнику», «Граневу», из-за одной героини, ее похищение и спасение составляют завязку «Капитанской дочки»; сентиментальный любовник сохранил здесь даже свою фамилию — Гринев обратился в Гринева, пройдя, однако, в процессе оформления замысла очень сложную эволюцию. Но вместе с тем, отодвинув действие «Капитанской дочки» от живой современности и перенеся его в определенную историческую эпоху, Пушкин, тем самым, лишил роман живого бытового фона, а героев его — актуального, современного значения. Другой попыткой дать *современный* психологический и бытовой роман широкого и сложного общественного охвата явился «Русский Пелам»; но и от него, как от «Кавказского романа», остались лишь набросок начала да ряд планов, — из которых, по их запутанности и повторениям, трудно даже сколько-нибудь приблизительно извлечь схему будущего произведения.

Современный бытовой роман, столько лет занимавший Пушкина, так и не был написан — и другому, младшего поколения писателю досталась задача воплотить в романе некоторые яркие черты современного ему общества. Он взял, ничего не зная о замысле Пушкина, обстановку Кавказских вод, тот же фон, почти те же ситуации и ту же завязку: и это, конечно, была не случайность, но неизбежное тяготение к композиционным рамкам, представлявшим наиболее удобные условия для разрешения определенных задач. Действующие лица и их реальные прототипы во многом переменились; но центральное лицо осталось у Лермонтова тем же, чем было у Пушкина: одним из «героев нашего времени».

П. Измайлов.

РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИЗ ВАЛЬТЕР СКОТТА В «ПОВЕСТЯХ БЕЛКИНА».

В истории общеевропейского увлечения Вальтер Скоттом-романистом, 20-е годы XIX века — эпоха непосредственного знакомства с «создателем» нового литературного жанра, время наибольшей эмоциональной близости к нему, восхищенного вчитывания в поток его «исторических» романов... К концу 20-х годов все литературы передовых стран находятся под гипнотическим действием этого неиссякаемого литературного источника.[1] В 30-е годы творчество Вальтер Скотта осознается, ассимилируется и преодолевается. Россия не является в этом отношении исключением.

Историку литературы, занимающемуся проблемой литературного влияния, открывается совершенно исключительная эпоха для наблюдения жанрового влияния в его чистом виде.

Исторический роман властно покоряет себе умы всех передовых прозаиков Европы и, если современный литературоиспытатель отметает господствовавшее у современников Вальтер Скотта наивное представление о нем, как о Колумбе исторического романа,[2] то всё же должно признать, что все нити этого жанра переплетаются, скрещиваются и крепнут именно около этого имени, в нем.

[1] Ср. обзоры литературы о Вальтер Скотте у Н. И. Замотина: «Романтизм 20-х годов», II, 1913 (глава IV); К. Ф. Тиандера: «История Западной Литературы», изд. «Мир», гл. IX, стр. 394—412, и недавно Mir. Zelenka: «W. Scott a literatura o něm» в «Slavia», 1925, sešit 3, 641 až 643 — наиболее полный, но не исчерпывающий обзор, а также J. Koch: «Sir W. Scotts Beziehungen zu Deutschland», 1927.

[2] Д. О. Л. Б. Вольф: «Чтение о новейшей изящной словесности», М. 1835 (перевод с немецкого Н. Л.) называет В. Скотта «первым из Британских, живших и живущих в настоящее время, прозаиков, открывшим новое поприще, по коему с тех пор пустились первые гении почти всех образованных народов» (экземпляр Пушкинской библиотеки, стр. 180). Ср. акад. М. Н. Розанов «Очерк истории английской литературы XIX в.», ч. 1, 1922, стр. 30: «он был истинным основателем исторического романа».

Помимо введения манифестирующего нового рода (ср. Waverley, I Chapter. и Introduction to Ivanhoe), довольно скоро отлившегося в константные формы и определившего дальнейшее русло эпигонства и подражательности, помимо повествовательно-конструктивных приемов, надолго воспринятых современниками, как эстетические директивы, Вальтер Скотт выбросил на литературную арену совершенно исключительное количество тем, сюжетов, фабул. В совокупности указанных моментов крылись главнейшие причины его воздействия. Особо следует выделить третий момент — Вальтер Скоттовские темы определяют тематику писателей-прозаиков, рассыпаясь многоголосым эхо реминисценций; подхватываются композиторами (Беллини, Берлиоз, Буальдье, Доницетти, Караф, Обер); внедряются в драматургию (Скриб, у нас Шаховской).[1] Помимо колоссального «действия» Вальтер Скотта в рамках «исторического вымысла» обращают внимание вариации эффектных его тем, занимательных фабул, искусных сюжетов, отдельных типов и мотивов, продолжающих свое бытие у целого ряда авторов.[2]

Гёте зачитывался им,[3] Байрон в своем дневнике называл его «самым удивительным писателем этого времени», говорил, что он «ничего не читает с таким увлечением, как его сочинения».[4]

Можно сказать без преувеличения, что и в России Вальтер Скотт начинает к 30-м годам занимать совершенно исключительное место — всегда в ряду величайших гениев эпохи. Вопрос о нем приобретает остроту «злободневности»; свидетельство этому — все журналы эпохи, признания писателей, частные мемуары, пере-

[1] «Иванов, или возвращение Ричарда Львиного Сердца. Романтическая комедия в 3 д., в Английском роде, с большим спектаклем, Пистолищем, сражениями, Дивертисементом, песнями, Балладами и хорами»; «Судьба Пиджеля или вся беда для вещественного. Романтическая комедия в 5 д....»; «Таинственный Карло...»; «Морской Разбойник...».

[2] Ср. L. Maigron, «Le roman historique à l'époque romantique. Essai sur l'influence de W. Scott», P. 1898; E. Falke, «Die Romantischen Elemente in P. Mérimées Roman und Novellen», Halle. 1915; Mielke—Homann: «Der deutsche Roman des 19 u 20 Jahrhunderts», Dresden. 1920 (SS. 63, 103 u. s. w.); Nillo Idman, «C. R. Maturin», Helsingfors. 1923 (213—301); K. Bleibtreu, «Geschichte der englischen Literatur mit Einschluss der amerikanischen», 1923 (72—88); B. Croce, «European literature», 1924 (166); W. Dibelius, «Charles Dickens», 1916, etc.

[3] J. P. Eckermann, «Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens», Leipzig, Reclam, II (11—13).

[4] Байрон, изд. Брокгауза, I, 317. Можно привести массу его не менее восторженных отзывов, прекрасно, конечно, знакомых Пушкину.

писка всех читающих русских. Особо любимо сопоставление (ставшее общим местом в Европе) с Байроном. Это два пути — поэзии и прозы.

Из моря этих сопоставлений беру свидетельство Вяземского, как человека, тесно связанного с Пушкиным.

Всегда внимательный к Вальтер Скотту, собиравшийся, повидимому, даже переводить его, вероятно, в конце 1828 года,[1] он писал еще в 1827 году:[2] «Поэзия Шотландского барда, светило нашего века, как светило дня проникает нечувствительно или, лучше сказать, неисследуемо и туда, где неочевидно непосредственное действие лучей его»... «Кажется в нашем веке невозможно поэту не отзываться Байроном, как романисту не отозваться Вальтер Скоттом».

В России подозрительное невежество цензуры придало Вальтер Скотту — этому лойальнейшему и нравственнейшему из писателей — при первом же появлении его перед русским читателем ореол политической неблагонадежности и безнравственности. Широко известен трагикомический эпизод с переводом «The Eve of Saint John» Жуковским, переводом, которому разрешено было именоваться у нас «Смальгольмским Бароном».[3]

Для Пушкина Вальтер Скотт — любимец и чародей.

Следует отметить, что романы Вальтер Скотта внедрялись в наш быт; Карамзин мечтает, вдохновлялся для своих работ Вальтер Скоттом, поставить ему памятник в своем саду;[4] Вяземский свидетельствует о «лихорадке любопытства, тоски, жадности, увлекательности», которая бьет над чтением этого «может быть превосходнейшего писателя всех народов, всех веков»,[5] а рядом у нас говорят о костюмах в Вальтер Скоттовом роде, «Московский Телеграф» сообщает о новой парижской моде — «плащах Валтера Скотта»[1], и имена его героев становятся нарицательными (г-жа Эйхфельдт — Ревекка, слуга Карамзиных — Калеб).[2]

1 См. Б. Л. Модзалевский, «Пушкин под тайным надзором», стр. 89.

2 «Московский Телеграф» 1827 г., ч. XIV, стр. 195.

3 А. М. Скабичевский, «Очерки истории русской цензуры», 1892, 162—166. Ср. также и последующую ценаурную судьбу В. Скотта: опасения Карамзина в его письмах к Дмитриеву (9 июля 1825 г.); историю с «Историей Наполеона» (см. Скабичевский, там же, и Кс. Полевой, «Записки», С.-Пб. 1888, стр. 219). Сюда же следует добавить позднейшее запрещение у нас постановки «The House of Aspen» с предварительными курьезно-варварскими изменениями текста (о чем нами был сделан доклад: «Трагедия В. Скотта The House of Aspen и Пушкинский романс о рыцаре бедном» в ИЛЯЗВ, в 1927 году).

4 Ср. «Письма к Дмитриеву», стр. 356, и Вяземский, Сочинения, 1884, т. IX, стр. 92.

5 Там же, стр. 92.

I.

Характерно: кого читают герои Пушкина? Еще легкомысленный граф Нулин, вместе с «запасом фраков и жилетов», как последний крик моды 1825 года, везет из «чужих краев» «в Петрополь» новый роман Walter Scott'a и читает (в противовес сентиментальному роману хозяйки), опять таки, «в постеле лежа, Вальтер Скотта».

Неслучайно находим Вальтер Скотта и в описании деревенской глуши Онегина (а Пушкин писал: «в IV песне я изображу собственную жизнь»): «Читай: вот Прадт, вот Walter Scott» и, характеризуя занимательность для Татьяны творения Мартына Задеки, Пушкин ставит любимое имя в такой ряд:

«Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека
. . . . . .
Так никого не занимал».

И в 1830 г. герой «автобиографического наброска» читает вместе с новыми журналами и злободневными газетами «новый роман» Вальтер Скотта.[3]

Несомненно овладев к 1830 году английским языком, Пушкин, можно полагать, к этому времени читал и в оригинале кое-что из романов «шотландского чародея» (как назвал он Вальтер Скотта в «Литературной Газете» в том же году).[4] Но, конечно, одним из самых любимых писателей, учителем, наравне с Байроном, Вальтер

1 «Новый Живописец», ценз. разр. 2 января 1830 г., прибавление к части 31, № 1, за 1830 г.

2 Пушкин, изд. Брокгауза, II, 367, и А. О. Смирнова, «Записки», 1895, стр. 163.

3 Пушкин, изд. Брокгауза, IV, 140; ср. по поводу имени лошади — Женни в том же отрывке соображение М. Л. Гофмана, там же, 353.

4 Название не принадлежит Пушкину. Ср., напр., «Галатея» 1829 г., № 19, стр. 161. На банкете в честь В. Скотта в 1827 г. в Эдинбурге лорд Meadowbank назвал Скотта «the mighty magician» (речь см. в Centenary edition, vol. XIX, p. 490). Сам Скотт употребил выражение The Scottish magician в предисловии к «Ivanhoe».

Скотт стал для Пушкина еще через посредство французских переводов...

Вопрос о Вальтер-Скоттизме Пушкина давно (еще с Вяземского и Мицкевича) намечался историками литературы, но только намечался... Давно пора этой проблеме занять надлежащее ей место в истории развития поэта.[1] Несомненно, в 30-е годы, остывая к разочарованному и революционному Байрону, несколько отходя от стихов и обращаясь к «суровой прозе», «Болдинский помещик» — Пушкин формирует ее, свое мировоззрение и эстетические приемы под влиянием мирного и приемлющего жизнь Абботсфордского лэндлорда — Вальтер Скотта. Но нетрудно заметить и в самом процессе художественного претворения Вальтер Скотта попытки Пушкина преодолеть слабые стороны этого «влияния».

Уже в том же 1830 году, можно сказать — в разгаре увлечения Вальтер Скоттом, Пушкин заставляет произнести одну из своих героинь, также читающих его, отрезвляющие слова: «я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы».[2]

Тон этих слов вместе с тем показывает силу всеобщего увлечения Вальтер Скоттом, увлечения, неоставлявшего самого Пушкина и до конца жизни.

Напомню, что несомненные следы влияния Абботсфордского романиста носит и «Капитанская Дочка», по поводу которой Н. Г. Чернышевский даже замечал в свое время, что она «прямо возникла из романов Вальтер Скотта».[3]

---

[1] Специального исследования на эту тему нет. Ср. Н. П. Дашкевич — Сборник памяти Пушкина, стр. 17; Алексей Н. Веселовский, «Пушкин и европейская поэзия», особенно В. В. Сиповский, «Пушкин и романтизм» («Пушкин и его современники», XXIII — XXIV, стр. 277 и дальше).

[2] Сочинения Пушкина, ред. С. А. Венгерова, IV, 135 — «Отрывки из романа в письмах». Любопытно, что отход от моды на В. Скотта был замечен обычными журналистами на год или на два года позже. Ср. «Северная Минерва» 1832 г., Март, № V, 347, тоже отрывок из романа в письмах: «à propos о романах! Вальтер Скотт начинает выходить из моды и слава богу! Ты не поверишь, как он мне надоел!» (автор Лев Э....гер); в «Московском Телеграфе» за 1831 г. («Новый Живописец», № 4, февраль) дана замечательная пародия на исторические русские романы, пародирующая косвенно и приемы В. Скотта (машинка с валиком на манер В. Скотта), принадлежащая перу Бестужева-Марлинского.

[3] «Очерки Гоголевского периода», изд. 1892, стр. 19. Мнение, против которого впоследствии возражал Н. И. Черняев («Русское Обозрение» 1897 г.), считая его бездоказательным, но подтверждение фактическими, хотя неисчерпывающими и несовершенными сопоставлениями сначала Галахова («Русская Старина» 1888 г., № 1, стр. 27), а в наши дни М. Л. Гофманом (вступительный очерк к «Капитанской Дочке» в Венгеровском издании Пушкина). Вопрос требует нового пересмотра, и разрешение его представляется возможным лишь по осуществлении ряда предварительных работ. Впрочем, уже промелькнуло сообщение («Печать и Революция» 1927 г., кн. 4, стр. 230) о каком-то докладе Б. В. Неймана в Пушкинской Комиссии ОЛРС — «Капитанская Дочка Пушкина и Вальтер Скотт».

Напряженный интерес Пушкина к Вальтер Скотту в 1830 году выразился и в его заметках в «Литературной Газете» (вообще уделявшей в статьях Дельвига, Сомова и Романовича много внимания Вальтер Скотту). Пушкин посвящает Вальтер Скотту два пассажа, говоря словами достаточно значительными в статье «Об Истории русского народа Н. Полевого»: «Действие Вальтер Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности» и т. д. и в заметке об «Юрии Милославском» Загоскина: «В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей» и т. д.[1] Упоминается Вальтер Скотт и в заметке «Англия есть отечество карикатуры».[2] Можно думать, что именно к этой поре относится и поставление Вальтер Скотта за простореч ие в ряд с «единственным памятником народной сатиры» — «Недорослем» Фонвизина.[3] В том же 1830 году, наконец, писал поэт и своего «Скупого» (окончен 23 сентября), в котором имеются бесспорные реминисценции из «Пертской Красавицы».[4]

И именно в это время, когда интересы Пушкина так насыщены Вальтер Скоттом, в эту благостную Болдинскую осень, выковывает Пушкин свою прозу — «Повести Белкина».

В другом месте пробовал я показать, что повести были вставлены Пушкиным в композиционную раму, усвоенную им с Запада именно через посредство Вальтер Скотта, точно также, как и отдельные приемы в «Истории села Горюхина», задуманной в тесной связи с предисловием «От издателя» к Повестям и писавшейся почти одновременно.[5]

---

[1] «Литературная Газета» 1830 г., №№ 8 и 34; в № 59 Дельвиг цитировал мнение Байрона о В. Скотте; на стр. 184 — ссылка на предисловие к «Антикварию» В. Скотта.

[2] № 12; о принадлежности заметки Пушкину см., однако, у Б. В. Томашевского: «Пушкин», 1925, стр. 120—121.

[3] Пушкин, ред. Венгерова, т. V, 422.

[4] А. Д. Галахов, цитированная статья и последующая литература на эту тему.

[5] Недавно появившаяся статья М. П. Алексеева: «К истории села Горюхина» («Пушкин. Статьи и материалы», II, Одесса, август 1926 г.) не колеблет, мне кажется, высказанных мною положений. Сам М. П. Алексеев, делающий сопо-

На указанном фоне фактом высокого интереса является то, что можно найти следы и сюжетных реминисценций из романов Вальтер Скотта в *тексте* самих повестей Белкина. Следует иметь в виду что «действие» Скотта на Пушкина сильнее всего сказалось именно в тематике, — существенном, как указано выше, моменте мирового влияния Вальтер Скотта.[1]

II.

В широко популярном в Пушкинской России романе Вальтер Скотта «The Bride of Lammermoor» — «Ламмермурская Невеста» (1819) Вальтер Скотт посвящает главу IX описанию охоты своего героя — старого феодала Лорда Астона (Ashton) на отнятых у его врага Равенсвуда землях. Случайно сам молодой Равенсвуд со своим приятелем Буклавом являются очевидцами этой охоты. Мне думается, что не без некоторого влияния этих сцен «Ламмермурской Невесты» и охотничьи сцены в Пушкинской «Барышне-Крестьянке». Интересно, что предполагаемая зависимость последней от французской сентиментальной повести г-жи Монтолье «Урок любви» может быть усмотрена только *вне этих сцен*, которые как бы представляют автономную вторую линию новеллы и для которых никаких параллелей не указывалось[2].

ставления с «Историей Нью Йорка» В. Ирвинга, вынужден признать (стр. 84), что Пушкин «едва ли читал до конца (?) или даже в отрывках» это произведение Ирвинга. Впрочем, ценная статья нуждается в особом, детальном разборе. Этому вопросу, между прочим, был посвящен мой доклад в ИЛЯЗВ от 14 июня 1927 года («История села Горюхина и ее английские источники»).

[1] А. Цейтлин в статье: «К социологии литературных влияний» (1927) высказывает мысль, что «реминисценции сами по себе изучать не стоит и не следует» («Родной язык в школе», I, стр. 27). Он же занимается изучением влияния, но вот как занимается: «Влияние ... европейских романистов ... ослабло в связи с тем, что русский реализм освободился от влияния иностранных образцов» (38). Не удовлетворяясь подобными социологическими объяснениями, считаю, что полная регистрация реминисценций такого большого поэта, как Пушкин, необходима, как одна из первых стадий при изучении «влияний». Всякие же объяснения нужны только после того как установлено то, что хотят объяснять!

[2] Ср. М. Н. Сперанский, «Барышня-Крестьянка Пушкина и Урок Любви Монтолье» — Сборник Харьковского Ист.-Фил. Общества, т. XIX, 1910. Отмечу попутно, что аналогичная ситуация имеется у того же W. Scott'a в его нравоописательно-семейном романе: «St. Ronan's Well» (1823), chapter XXV (русский перевод М. Воскресенского, 1828 г., ч. 4, стр. 178). Клара Мовбрай с наперсницей переодеваются в крестьянское платье. В лесу их выручает бродящий с ружьем Франц. Отсюда — любовь героев.

Фоном является одна и та же тема — нелады соседей (у Пушкина, — Берестова и Муромского). У одного — единственный сын, у другого дочь — (та же ситуация у Вальтер Скотта). Между молодыми людьми завязывается роман. Старая, еще Шекспировская фабула, к слову сказать, интересовавшая Пушкина и в «Дубровском» — романе, связь с которым «The Bride of Lammermoor» я старался установить в другом месте.[1] Характерно, однако, чисто Вальтер Скоттовское окружение мотива.[2] В упомянутой главе IX «Ламмермурской Невесты», во время травли оленя к молодому Равенсвуду подъезжает незнакомец, как потом оказывается, — один из ловчих его врага — Лорда Астона (транскрипция имени в современных Пушкину переводах) и с учтивостью предлагает ему вместо усталой лошади свою. Друг Равенсвуда пользуется этой услугой вместо него, но в результате Равенсвуд оказывается косвенно обязанным Астону — своему врагу. Дальше встречаются сами враги: «В ту самую минуту, как Равенсвуд хотел подъехать к группе охотников, к нему приблизился всадник, подобно ему державшийся поодаль во время травли зверя. Незнакомец казался в летах; на нем был большой пунцовый плащ, застегнутый до самой шеи, и шляпа, надвинутая на глаза, вероятно для предохранения от непогоды»... «Незнакомец заговорил с Равенсвудом весьма вежливо, но с некоторым замешательством» («As he was about to move towards the group of assembled huntsmen, he was joined by a horseman, who like himself had kept aloof during the fall of the deer. This personage seemed stricken in years. He wore a scarlet cloak, buttoned high upon his face, and his hat was unlooped and slouched, probably by way of defence against the weather»).

У Пушкина встреча дана так: «Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника». Пушкин, подобно Вальтер Скотту, не только останавливается на описании деталей костюма

[1] Работа, доложенная в заседаниях двух групп VII секции Исследовательского Института Сравнительной Истории Литератур и Языков Запада и Востока при Лгр. Университете, в 1925 году.

[2] Быть может, манеру Пушкина называть собаку героя повести именем литературного героя (дважды — Shogar) — можно поставить в связь с подобной черточкой в романах Скотта. В «Веверлее» и «Аббате» собака героини носит имя «Бран» в честь собаки Оссиана, носившей это имя. Возможно, конечно, что здесь простая похвальба традиция. Ср. рассказ Л. Н. Павлищева о собаке Пушкиных «Руслан».

всадника, но и характеризует его лошадь. Замечанию о куцой кобылке Муромского, «небывшей никогда на охоте», соответствует у Вальтер Скотта замечание: «Его мирная и послушная[1] лошадь совершенно подходила к человеку, желавшему скорее любоваться охотою, чем участвовать в ней» («His horse, a strong and steady palfrey, was calculated for a rider who proposed to witness the sport of the day rather then to spare it...»). И дальше происходит первый разговор:

W. Scott	Пушкин
«Незнакомец заговорил с Равенсвудом весьма учтиво, но с некоторым замешательством» («He accosted Ravenswood very politely, but not without some embarrassement»).	«Делать было нечего: Муромский, как образованный Европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал»...

У Вальтер Скотта тот же эпизод осложняется тем, что в это время к разговаривающим подъезжает замаскированная амазонка — дочь Астона. Лошадь последней пугается удара грома... Пушкин заставляет лошадь Муромского испугаться криков охотников. Привожу аналогичные места en régard:

W. Scott	Пушкин
«В эту минуту черная туча, поднявшаяся из-за башни и мало по малу покрывшая мрачною мглою и землю и море, разразилась отдаленными ударами грома...	«В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянной закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор.
Лошадь молодой женщины начала выказывать какой то страх и беспокойство, и Равенсвуд, как человек и джентльмэн..., счел своим долгом схватить за уздечку ее лошадь и помочь молодой девушке справиться с нею» («At this moment the cloud...	Лошадь Муромского, небывшая никогда на охоте, испугалась и понесла... Лошадь, доскакав до оврага, прежде ею незамеченного вдруг, кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, ко-

[1] Во французском переводе Defauconpret 1822 г., стр. 402: «Sa monture, cheval d'amble, *doux* et *docile*»; также в издании Fournier 1826, t. 29, p. 153.

began now, by one or two distant peals, to announce the thunders...

The horse of the fair huntress showed symptoms of impatience and restiveness, and it became impossible for Ravenswood, as a man or a gentleman to leave her abruptly... He was... obliged in courtesy to take hold of her bridle, and assist her in managing the unruly animal»).[1]

торая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянной привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло»...

Далее герой Вальтер Скотта — Равенсвуд, вынужденный обстоятельствами, предлагает временное убежище в своем доме врагу и его дочери: «Действительно, состояние, в котором находилась молодая девушка, делало эту учтивость необходимой: держа за уздечку ее лошадь, Равенсвуд не мог не заметить, что всадница сильно дрожала и была очень взволнована, вероятно из боязни грозы». Астон принимает предложение: «Гроза, сказал он, — достаточное извинение, чтоб отложить всякие церемонии. Здоровье моей дочери очень расстроено, особливо после недавнего испуга. А в подобном случае, надеюсь, принятие предлагаемого вами гостеприимства не может назваться непристойным; к тому же безопасность дочери мне дороже правил приличия. Не оставалось никакого путя к отступлению — и Равенсвуд повел своих гостей по тропинке, держа попрежнему под уздцы коня» («The Storm», said the stranger, «must be an apology for waiving ceremony — his daughter's health was weak — she had suffered much from a recent alarm — he trusted their intrusion on the Master of Ravenswood's hospitality would not be altogether unpardonable in the circumstances of the case — his child's safety must be dearer to him than ceremony». There was no room to retreat. The Master of Ravenswood led the way, continuing to keep hold of the lady's bridle to prevent her horse»).

У Пушкина с несколько иной мотивировкой повторяется весь эпизод: «Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться,

[1] W. Scott, как мне кажется, восходит здесь в свою очередь к «Tom Jones» излюбленного им Фильдинга (ср. русский пер. 1849 г., гл. XIII «Опасный случай с Софьей»): при падении с лошади героини во время охоты Джонс приходит ей на помощь. Об отношении W. Scott'a к Фильдингу см. его «Lives of the Novelists» и в труде W. Dibelius, «Englische Romankunst», II Bd. 1922, passim.

ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца» . . .

В главе XIV «Ламмермурской Невесты» лорд Астон с дочерью обедают в жилище недавнего врага: «Равенсвуд, несмотря на предубеждение и на основательные причины злобы против сэра В. Астона, тем не менее находил удовольствие и интерес в его беседе, а лорд . . . с блеском выказывал всё свое красноречие». (Ср. у Пушкина сначала: «Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно» и потом: «Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости купой кобылки».[1]

У Вальтер Скотта далее между молодыми людьми завязывается роман, развертывающий основную линию «Ламмермурской Невесты». У Пушкина роман молодых людей завершает новеллу. Манера сгущенной переработки Вальтер Скоттовского мотива здесь, как и в других случаях, характерна для Пушкина.

Указанные черты сходства — сюжетного характера, но, вместе с тем, они настолько своеобразны и совпадают в деталях, что, кажется, исключают совершенно возможность случайного совпадения.

Есть ли у нас, однако, биографические данные, говорящие о близком знакомстве Пушкина именно с указанным романом Вальтер Скотта? В библиотеке Пушкина, как и в библиотеке Тригорского, среди романов Walter Scott'a на французском, немецком и английском языках именно этого романа не сохранилось,[2] — но сохранилась задрапированная ссылка самого Пушкина на этот роман. Следует также иметь в виду, что роман, помимо широкого обсуждения в европейской печати, у нас обсуждался в журналах и частной переписке.[1]

[1] Повторение мотива W. Scott'a, как будто, опровергает гипотезу Б. М. Эйхенбаума о пародировании Пушкиным в этом эпизоде Шекспировской темы в «Ромео и Джульетте» (журнал «Жизнь Искусства» 1919 г., №№ 316, 317, 318). Здесь просто бытовое снижение высокой темы под влиянием W. Scott'a.

[2] Позволяю себе высказать быть может несколько парадоксальное мнение, касающееся методологически важного для пушкинизма вопроса. Опираясь на настольный труд всякого пушкиниста — классическое описание библиотеки Пушкина, сделанное Б. Л. Модзалевским, нужно иметь ввиду следующее: библиотека Пушкина вводит почти всегда в круг изучения и восприятия Пушкиным определенного писателя, но, помимо соображений, высказанных в предисловии к его труду Б. Л. Модзалевским, несомненно, часто одно апеллирование к ней может вести к неполным заключениям. Принято ссылаться — книга была в библиотеке Пушкина. Однако, из этой посылки вовсе не следует делать вывод о каком-то примате данной книги перед другими книгами того же автора, *несохранившимися* в библиотеке Пушкина. Наоборот, часто несохранившиеся книги могли быть (именно поэтому-то они и не сохранились — читаемое не лежит на полке!) наиболее читаемыми и изучаемыми книгами Пушкина, бравшимися им, напр., в дорогу (ср., напр., письмо Пушкина к жене от 21 сент. 1835 г.), дававшимися знакомым и т. п. Это рельефно выступает на примере В. Скотта. Несмотря на большое количество сохранившихся названий романов В. Скотта в Пушкинской библиотеке (шесть), мы не находим среди них таких основных его романов, как Quentin Durward, Old Mortality, The Abbot, The Monastery, Kenilworth, Pirate, The fortunes of Nigel, Redgauntlet, Tales of the Crusaders, Anne Geierstein, St. Ronan's Well; не находим ни The Heart of Midlothian и The fair Maid of Perth, — влияние которых на Пушкина наиболее сильно; ни The Bride of Lammermoor и Legend of Montrose, — на которых имеем ссылки самого Пушкина!

[1] См., напр., «Lycée Français», III, p. 19, 1820 и «Conservateur Littéraire», déc. 1819, t. I, 2-e livraison (см. у Maigron, p. 104); ср. у нас: упоминание Вяземским деталей романа в письме 1826 г. («Остафьевский Архив», V, 65); в № 38 (июля 5) «Литературной Газеты» 1830 г. рядом с Пушкинским «Калмычке» — о деталях «Ламмермурской Невесты» (стр. 14); также «Северная Пчела» 1827 г., № 117, «Московский Вестник» 1830 г., ч. III и IV.

[2] Черновики Пушкинской прозы остались неразработанными у Якушкина: ни у Морозова, ни у Ефремова, ни у Венгерова они не обследованы целиком. В рукописи в этом месте, как и обычно у Пушкина, «В. Скотт» (а не «Вальтер» как в современных и прижизненных Пушкину изданиях 1831 и 1834 годов).

III.

Указание на детальное знакомство с «Ламмермурской Невестой» дано самим Пушкиным и — это характерно — именно в тексте связанных с Вальтер Скоттом «Повестей Белкина». В «Гробовщике» (т. е., еще в октябре 1830 года) Пушкин писал: «Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и *В. Скотт*[2] (курсив мой. *Д. Я.*) оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми» . . .

Это замечание ведет непосредственно к главе XXIV «The Bride of Lammermoor» — сцене с могильщиком (в изданиях Пушкинского

времени часто изображавшейся на обложке),[1] с эпиграфом из V действия (сцена 1) «Гамлета» Шекспира. Вместе с тем интересно отношение «Гробовщика» к роману В. Скотта. Указанная глава «Ламмермурской Невесты» — один из реалистических шедевров Вальтер Скотта и представляет несомненно фактические черты сходства с концепцией и основным тоном Пушкинской повеллы. Ссылка Пушкина в «Гробовщике» же на Скоттовского гробовщика, указывает, очевидно, что тон новеллы в известной мере был предопределен, что во время ее писания наш поэт всё время имел в виду типы Шекспировских и Вальтер Скоттовских могильщиков. Он отметил, что они оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми,[2] «*дабы*[3] *сей противоположностью сильнее поразить наше воображение*», и прибавляет: «из уважения к истине[4] мы не можем следовать их примеру и[5] принуждены признаться,[6] что[7] нрав нашего[8] гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу».

Однако, мне кажется, следы Вальтер Скоттовского изображения, этот прием противоположностей — «дабы сильнее поразить» — остались у Пушкина, конечно, с той же самой целью.

Любопытно попутно отметить, что автор «Записок Гробовщика» — князь В. Ф. Одоевский так писал Г. П. Волконскому о холере 1831 года: «На улицах гробовые дроги и на них *веселые* лица *гробовщиков*, считающих *деньги* на *гробовых подушках*, — всё это было *Вальтер Скоттов* роман в лицах» (курсив мой *Д. Я.*).[9]

---

[1] По изд. Waverley Novels, vol. XIV, 1831, Bride of Lammermoor, printed for R. Cadell, Edinburgh, pp. 232—43, также и во французских переводах Пушкинской эпохи. В русском переводе 1827 г. «Невеста Ламмермурская. Новые сказки моего хозяина, собранные и изданные Джедедиом Клейнботамом, учителем и ключарем Гандерклейгского прихода. Сочинение Сира Валтера Скотта», чч. I, II, III, М., см. ч. II, гл. II, стр. 22—38. В современном переводе (2 изд. Луковникова) глава XXIII, стр. 203—210.

[2] В рукописи Ленинского (б. Румянцовского) Музея — тетрадь № 2379 — далее зачеркнуто: «вѣроятно».

[3] В рукописи дальше зачеркнуты слова: «поразить (?)» и «разительной».

[4] В рукописи зачеркнуто: «Къ нещастію» и заменено сверху (карандашем): «изъ уваженія къ истинѣ».

[5] Зачеркнуто: «ибо наша», «сія повѣсть не вымышленная и мы».

[6] Зачеркнуто: «сказать».

[7] Зачеркнуто: «мрачный».

[8] Сверху сказано: «стараго».

[9] Из архива М. А. Веневитинова; Барсуков, «Погодин», кн. III, 328—329.

В самом деле, Walter Scott указывает сразу же, что его «*могильщик* живет возле корчмы, в коей часто *празднуют после погребения:* одно необходится без другого»[1] («a house of entertainment where there has been mony a *lithe* birling — for death and drink — draining are near neighbours to ane anither»). Следы этого же контраста даны Пушкиным уже в вывеске его «Гробовщика»: «над воротами возвышалась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и окрашенные, также отдаются на прокат и починяются старые» (Амур — гробы; гробы — на прокат).

Следует заметить, что, несмотря на то, что в переезжающем на Никитскую гробовщике Адриане Прохорове изображен реальный гробовщик — сосед Натальи Николаевны Гончаровой по Никитской (ср. письмо Пушкина к ней от 4 ноября 1830 года: «Как вам не стыдно оставаться на Никитской во время чумы? Это очень хорошо для вашего соседа *Адриана*, который от этого большие барыши получает... но вы!»[2] и первоначальный вариант: «сия повесть не вымышленная»), однако, отсюда вовсе не следует, что Пушкин буквально воспроизводил и реальную вывеску Адриана Прохоровича Прохорова.

Наоборот, неизвестный в печати рукописный вариант этого места, по сделанным мною наблюдениям, дает первоначально такую редакцию: «Над воротами возвышалась вывеска изображающая *красивый гробец с подписью здесь продают гроба*» (sic).

Очевидно, позднейший контраст с Амуром и едва ли не прямо юмористическая кода — сознательно выдвинуты, подчеркнуты, как некая игра понятиями, продолжающая центральную сюжетную линию, намеченную концепцией Вальтер Скотта. У Вальтер Скотта изображен, собственно говоря, кладбищенский сторож и могильщик (the sexton or beadle)[3] с прозрачной фамилией — Mortsheugh. Первое впечетление от его жилья дано так же: «постучал в дверь и узнал, что кладбищенский сторож находился на свадьбе: к должности могильщика он присоединял еще и звание музыканта». Эпиграф из Шекспира подчеркивает именно черту, отмеченную

---

[1] Русский перевод 1827 г., III, 15, или позднейший перевод: «где справлялось много веселых похорон: смерть и пьянство близкие соседи».

[2] Переписка Пушкина, Акад. изд., т. II, № 482.

[3] Во французском издании 1822 г. «le sacristain ou le bedeau». В творчестве В. Скотта есть еще только один «гробокопатель» — в «Castle Dangerous» (1831—2 г.), но роман этот появился позже «Гробовщика».

Пушкиным (и единственно общую с «Гробовщиком»): «he *sings* at *grave*-making»[1] и таким образом ссылка на обоих предшествующих авторов в «Гробовщике» в свою очередь носит функцию своеобразно спроецированного motto на них.

Первый вопрос, который Мортегей задает Равенсвуду, это: «Вы хотите жениться?»[2] и далее: «У меня двойной доход: я работаю и смычком, и заступом; попеременно бываю и на похоронах, и на крестинах».[3]

Подобно тому, как Скоттовский могильщик гордится своим ремеслом: «Я могу указать место всех погребенных здесь в течение 30 лет»,[4] — рассуждает и Пушкинский Адриан о своих Kundleute, оскорбленно выступая на защиту своего профессионального положения.

И вводит его Пушкин в свете точно такого-же контраста: первые же слова вошедшего Шульца — приглашение *гробовщика* на серебряную *свадьбу*: «вошел и с *веселым* видом приблизился к *гробовщику*». И дальше всё построено на контрасте: гробовщик — свадьба, гробовщик — покрушка. То же самое заостренное жонглирование противоречащими понятиями, что и у Вальтер Скотта, у которого дальнейший разговор и забавные философствования могильщика вращаются вокруг «свадебных обрядов».

Характерно, что в старике Мортегее Walter Scott'ом подчеркнута прежде всего расчетливость торговца-профессионала, *боящегося* продешевить: «надо заплатить за место, за колокола (хотя они разбиты), мне за работу, мне за чай, за пиво и водку для поминок. Вообще я не думаю, чтобы вы могли похоронить ее прилично менее, чем за шестнадцать шотландских фунтов». Очевидно,

[1] Так как в русских переводах эпиграф из Шекспира обычно приводится в сокращении, привожу всё место, взятое Скоттом, как эпиграф, во французском переводе по изд. C. Gosselin et A. Sautelet, MDCCCXVI, vol. 30, p. 160 (или изд. 1822, p. 448): *Hamlet.* Ce gaillard-là n'a-t-il donc pas le sentiment de ce qu'il fait: il chante en creusant un tombeau (fosse). *Horatio.* L'habitude lui a rendu cette occupation indifférente. *Hamlet.* Voilà ce que c'est: la main qui travaille peu a le tact plus (peu) délicat» (Hamlet, V, 1).

[2] Точнее: «Ручаюсь, что вы пришли пригласить меня на свадебку, сэр?» («Je will be a wedding customer, sir. I se warrant?») Ср. также Пушкинское сравнение стука в дверь с «франмасонскими ударами» — с тем же сравнением в XX главе «Пудстока» В. Скотта.

[3] Перевод 1829 г. Точнее: «Умножаю и уменьшаю население» («filling the world and emptying of it»).

[4] Здесь и далее современный перевод в издании Луковникова.

что своеобразие, кроющееся в самой профессии (в этом центральный пункт темы для поэта, как вскрывает в свою очередь и цитированное письмо Пушкина к невесте) невольно создает для случайного зрителя впечатление шутки, почти с оттенком цинизма.

Именно это, бросающееся в глаза и в реальной жизни своеобразие профессии приковало к себе внимание Пушкина, идущего по стопам реалистических сцен Вальтер Скотта.

В «Гробовщике» также «гроба продаются, отдаются на прокат (?), починяются старые (?)». Ту же цель преследуют и экивоки: «запрашивать за свои *произведения* преувеличенную цену *у тех*, которые имели несчастье (а *иногда и удовольствие*) в них нуждаться», «в кухне и *гостиной* появились *изделия* хозяина». И еще: ... «он предвидел немалые *расходы*» ... «он надеялся вынести *убыток*», «боялся, чтобы наследники ... не *торговались*». Элемент *торговли* («лавка») подчеркнут сопоставлением с другими ремесленниками — торговцами и их разговорами (тост: «за здоровье *тех, на кого* мы *работаем*»),[1] «сознаю *в тех, на кого* работаю — мертвецов православных», «милости просим, мол благодетели». То же подчеркивают и фразы: «конечно, мой *товар* не то, что ваш» и «Гробовщик, *по обыкновению, побоялся, что лишнего не возьмет*, значительным *взглядом обменялся с прикащиком*».

И, если маленький лорд Вальтер Скотта, оборачивая своим вторым лицом — профессионала-скрипача, не брезгует назойливыми приставаниями («with the impertinent freedom»), чтобы заработать лишний доллар исполнением песен безразлично для него какой из враждующих политических партий, то и у Пушкина подчеркнута подобная черта: его Адриан не брезгует тем, чтобы надуть покупателя, продавая «первый свой гроб» сосновый за дубовый.

И не случайно, мне кажется, у Пушкина упоминание, что «Гробовщик» рассказан помещику Белкину *прикащиком* (курсив мой, *Д. Я.*) Б. В.[2]

[1] Здесь игра смыслами подчеркивается поставлением в один и тот же словесный ряд разных значений: в первом случае «*у тех*, которые имели несчастье в них нуждаться» имеются ввиду родственники умерших; во втором: «за здоровье *тех*, на кого мы работаем» имеются в виду — мертвецы.

[2] Так же смотрит В. Данилов в спорной местами, но любопытной статье «Классовая обусловленность Повестей Белкина» («Родной язык в школе», 1927, в. III). К вопросу подходил, но не объяснил его В. Ф. Боцяновский: «К характеристике работы Пушкина над новым романом» («Sertum Bibliologicum в честь проф. А. И. Малеина», стр. 190). За исключением сопоставления с «Записками Гробовщика» В. Ф. Одоевского, сделанного П. Н. Сакулиным (сопоставление разобрано

Чрезвычайно любопытно в «Гробовщике» еще одно Пушкинское замечание, касающееся уже самой манеры письма и также нигде не комментированное. Вот оно: «Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни Европейского наряда Акулины и Дарьи,[1] *отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами* (курсив мой. *Л. Я.*). Полагаю, однакож, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые ширяки и красные башмаки, что бывало» . . . и т. д.

Очевидно, подчеркнутое место и имеет в виду как самого Вальтера Скотта с его пресловутой манерой детально описывать костюмы героев (примеры из его романов по этому поводу могли бы составить целую книгу, так они многочисленны), так и писателей, подхвативших от Вальтера Скотта этот «обычай».

Не только на Западе была подмечена эта манера, но еще в 20-х годах на нее обращали внимание и русские журналисты. Каченовский, например, писал еще в 1822 году: «Вальтер старательно описывает *платье*», «изображает одни характеры, одни места, одни *костюмы*».

Позже то же отмечал Гоголь: «Много поэтов, широких кистью, глубоких и великих, занимались описанием убранства и костюма своих героев. В старину Гомер, позже Сервантес, Вальтер Скотт и Пушкин любили живописать туалеты».[2] Интересно, что в то

Н. В. Измайловым в сборнике «Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 303 и примеч., стр. 398, в Пушкиниане не указывалось, что «Гробовщик» имел влияние и на последующую русскую литературу. В «Библиотеке для Чтения» 1840 г., т. 42 (цензурное разр. 30 сент.), стр. 38—66, «Гробовой мастер» А. Башуцкого написан, как явное подражание: «Гробовщики пристают, как торговцы», «мы возьмем подешевле», «гроб сей обойдется» и проч., после классификации гробовщиков, следует «открытие», «что гробовщик — русский, а не немец», фиксируется внимание и на вывесках: «*Здесь приготовляют разные гробы*, — или затейливее: *Приготовление гробов с троуром и без оного*, — или с красноречивым эллипсом: *Отпускают, всякого сорта*, — или с неподражаемым лаконизмом, просто — *гроб*, — по-немецки *Кгарь*». Имеется здесь и переезд гробовщика в собственный дом, и В. Скоттовское осмысление фамилии — гробовщик Тихоморов, даются счета на 3-х страницах, восприняты и Пушкинские юмористические намеки, идущие от В. Скотта: гробовщик «изъявляет приятное желание и впредь *иметь* с вами дело» (стр. 64). Вместе с тем, характерна и гуманистическая линия, идущая от Пушкинского «Гробовщика», — заключающая очерк: «Вот Петербургский гробовой мастер — *он достоин нашего участия*».

[1] В рукописи зачеркнуто «юла» — очевидно начало слова «пожагая».

[2] По поводу цвета Чичиковского фрака (VIII глава I тома «Мертвых душ», черновой набросок; издание Х. Тихоправова, том VII, стр. 434). Ср. у В. Скотта замечание, близкое Пушкинскому, в XXXVII главе «Приключений Нигеля».

время как сам Гоголь был захвачен этой струей, Пушкин, в сущности говоря, по крайней мере в «Повестях Белкина» почти, не использует этого Скоттовского приема. Очевидно, приведенное замечание Пушкина следует рассматривать в числе попыток начинающегося преодоления «няни души»—Вальтер Скотта, в смысле более трезвого к нему отношения. «Гробовщик» не только «грациозная, миленькая штука» (А. Иезуз), но исключительно важный, начальный момент в истории развития русской реалистической новеллы. В сущности, здесь мы имеем впервые попытку создания новеллы профессиональной, цеховой, с героем — мелким ремесленником. Гробовщик Адриан Прохоров, будочник Юрко, сапожник-немец Готлиб Шульц — открывают в литературу дорогу Гоголевским портным Петровичам, немцам-сапожникам и жестяных дел мастерам с Мещанской, цирюльникам и будочникам . . . Но, указав, что Пушкин припоминал приемы и манеры В. Скотта, в своем энциклопедическом творчестве мастерски обрисовавшего и быт маленьких ремесленников с их «просторечием» и нравом, необходимо отметить, что Пушкин также не забывает и рецепт В. Скотта по поводу изображения ужасного. Последний в статье об Анне Рэдклифф, говоря о Макбетовском «пресыщении публики ужасами», сочувственно отмечал, как «одно из отличительных свойств ее», — «принятое ею правило давать в конце повести естественное изъяснение всех обстоятельств, как бы сверхъестественны они ни казались».[1] Сам В. Скотт в художественной практике широко следовал этому приему.[2] Пушкин также сдушает постройку своей фантастической новеллы (мотивирующая сном концовка «Гробовщика»).

Связь Пушкина с Вальтер Скоттом в «Повестях Белкина», надо думать, была замечена и современниками. Приведу хотя бы место из письма бар. М. Н. Сердобина к бар. Б. А. Вревскому от

---

[1] Статья имеется в библиотеке Пушкина (№ 1369 по описанию Б. Л. Модзалевского) во французском издании «Prose Works of Sir Walter Scott». 1827 г., vol. V. Даю перевод по «Сыну Отечества», 1826 г., ч. 103, № 1, стр. 131—60 (отрывки) и ч. 106, № V, стр. 81—93. Пушкин, конечно, прекрасно знал и тонкую статью W. Scott'a «О чудесном в романе» (перевод в «Сыне Отечества» 1829 г., № XLI, стр. 225—243).

[2] Ср., напр., мотивировку чудесного в «Anne of Geierstein» или в «My Aunt Margaret' Mirror» и «Tapestried Chamber». Последние две вещи переведены в «Вестнике Европы» 1829 г., № 17, и в «Литературной Газете» 1831 г., № 26. Об этом подробнее также у W. Dibelius, указанный труд, глава XXV.

17 ноября 1831 года:[1] «Les contes de Belkine sont charmants et m'ont fait passer deux heures agréablement. Pouchkine qui en est l'auteur à ce que l'on dit pourroit fort bien s'occuper dans le genre romantique et ici on espère qu'il deviendra aussi notre Walter Scott».[2]

Из всего вышесказанного следуют достаточно определенные выводы.

Во-первых: в тексте самих «Повестей Белкина» имеются реминисценции из «Ламмермурской Невесты» Вальтер Скотта.

Во-вторых: во французскую идиллию «Барышня-Крестьянка» введен эпизод, аналогичный эпизоду из «Ламмермурской Невесты».

В-третьих: в «Гробовщике» трактовка типа героя носит черты, предначертанные реалистическим юмором Вальтер Скотта в «Ламмермурской Невесте».

В-четвертых: два замечания в «Гробовщике» восходят к Вальтер Скотту; одно — непосредственно к «Ламмермурской Невесте».

В-пятых: указанные реминисценции 1830 года, совпадая с биографическими данными, позволяют ставить вопрос о «влиянии» Вальтер Скотта на Пушкинскую прозу уже *в начале* 30-х годов.

Указанные реминисценции из Вальтер Скотта — только беглые реминисценции, но и они показывают, что во время писания «Повестей Белкина» в Болдине Пушкин припоминал или держал в руках «Ламмермурскую Невесту» и остро вглядывался в круг тем и в литературную манеру шотландского романиста.

Эти реминисценции должны служить конкретным материалом для заполнения всё еще недостаточно отчетливых (по существу и хронологически) представлений о переходе Пушкина от французских образцов и Байрона, наравне с увлечением Шекспиром, также в период, который можно назвать *Вальтер-Скоттовским* периодом Пушкина.

Дмитрий Якубович.

1925.

[1] «Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, стр. 371.

[2] Ср. там же, стр. 337, комментарий: «Вульфы-Вревские передают в письмах друг к другу каждую мелочь о «нашем В. Скотте».

ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ.

III. РЕФУТАЦИЯ БЕРАНЖЕРА.[1]

«Пели рефутацию г-на Беранжера» — читаем в протоколе празднования Лицейской годовщины 1828 г.

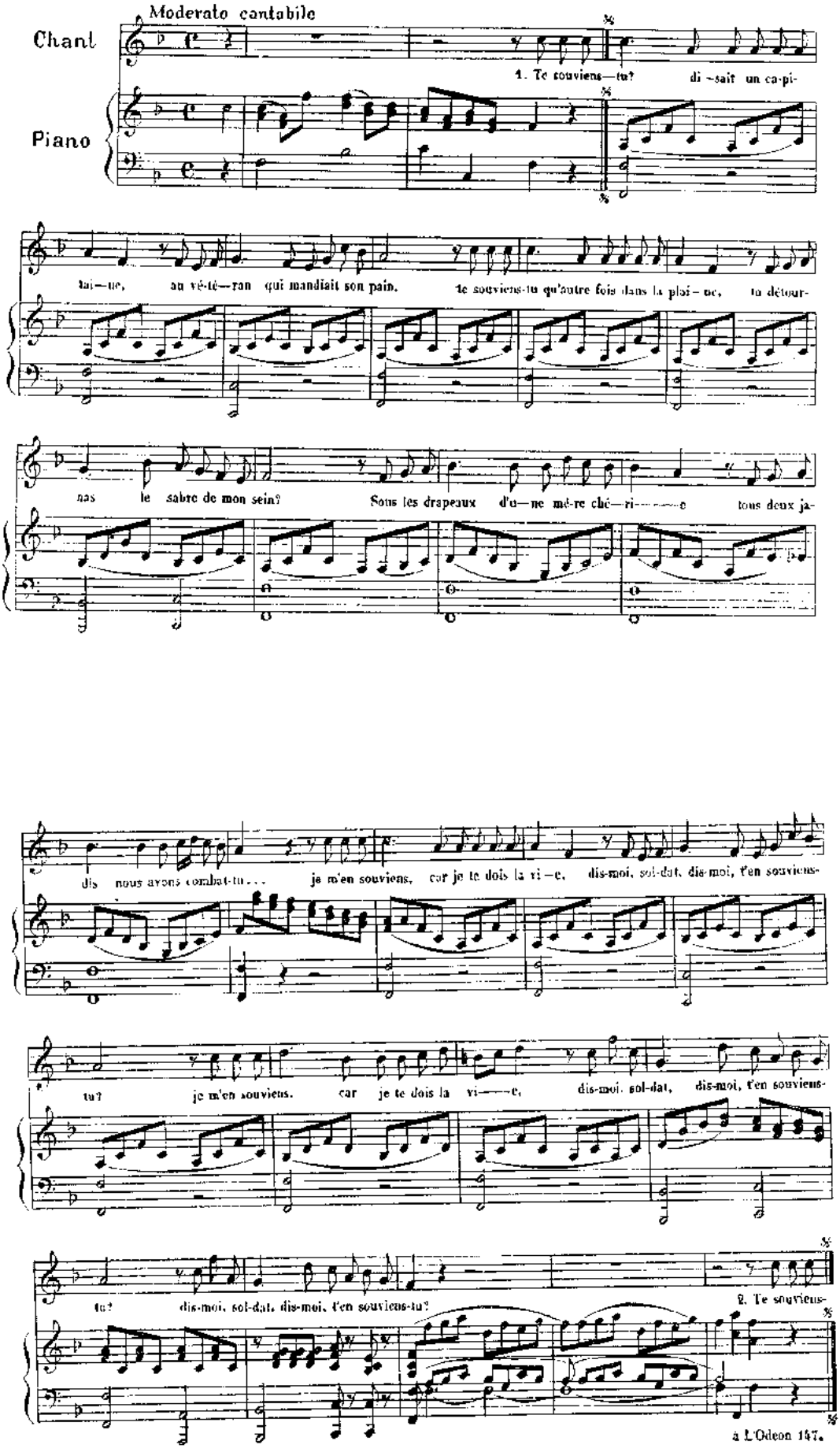
«Рефутация» эта, как известно, является ответом на французскую патриотическую песенку «Souvenir d'un militaire» и распевалась она, очевидно, на тот же мотив, что и этот «Souvenir». О популярности французской песенки в России свидетельствует, между прочим, нахождение текста с нотами в одном семейном альбоме романсов среди произведений Глинки, Варламова и Титова. Привожу из этого альбома текст и ноты (стр. 120, 121). Составление альбома относится к 50-м годам. На экземпляре этой песенки нет, к сожалению, указаний ни на год издания, ни на имена автора и композитора. Имеется лишь издательская подпись «A l'Odéon» и номер 147.

SOUVENIR D'UN MILITAIRE.

1. Te souviens-tu? disait un capitaine
Au vétéran, qui mendiait son pain,
Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine
Tu détournas le sabre de mon sein?
Sous les drapeaux d'une mère chérie
Tous deux jadis nous avons combattu...
Je m'en souviens, car je te dois la vie,
Dis-moi, Soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

2. Te souviens-tu de ces jours trop rapides,
Où le français acquit tant de renom?
Te souviens-tu que sur les pyramides,
Chacun de nous osa graver son nom?
Malgré les vents, malgré la terre et l'onde
L'on vit flotter apres avoir vaincu,
Nos étendarts sur le berceau du monde;
Dis-moi, Soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

[1] См. «Пушкин и его современники», вып. XXXVI.


Moderato cantabile
Chant
Piano
1. Te souviens—tu? di—sait un ca-pi-
tai—ne, au vé-té—ran qui mandiait son pain. Te souviens-tu qu'autre fois dans la plai—ne, tu détour-
nas le sabre de mon sein? Sous les drapeaux d'u—ne mé-re ché—ri———e tous deux ja-
dis nous avons combat-tu . . . je m'en souviens, car je te dois la vi—e, dis-moi, sol-dat, dis-moi, t'en souviens-
tu? je m'en souviens. car je te dois la vi———e, dis-moi. sol-dat, dis-moi, t'en souviens-
tu? dis-moi, sol-dat, dis-moi, t'en souviens-tu?
2. Te souviens-
à L'Odeon 147.

3. Te souviens-tu? Mais ici je m'arrête,
Ici finit un noble souvenir:
Vieux Camarade, ah! viens dans ma retraite,
Attendre en paix un meilleur avenir,
Et quand la mort, planant sur ma chaumière,
Vient m'appeler au repos qui m'est dû,
Tu fermeras doucement ma paupière
En me disant: Soldat, t'en souviens-tu?

Этот текст исправляет опечатку в эпиграфе, повторенную всеми издателями сочинений Пушкина: «Disait un capitain», создававшую фальшивое впечатление смежных рифм pain-capitain. Опечатка эта канонизирована в последнем издании Госиздата (под ред. В. Брюсова, М. 1919, стр. 285), где стихи переведены по-русски с соблюдением такой же смежности рифм (капитан-ветеран).

Б. Томашевский.

ТАВРИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА.

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройно тополи в долинах возвеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис.
И *сладостно шумят полуденные волны:*
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Первоначально элегия носила заглавие «Таврическая звезда». Она написана Пушкиным в Каменке, на берегу р. Тясмина, в ноябре—декабре 1820 г. В ней он вспоминает свое пребывание на Южном берегу Крыма, в Гурзуфе, где он был в августе—сентябре того же 1820 г. «Дева юная» — очевидно, одна из барышень Раевских, в семье которых жил Пушкин в Гурзуфе. Вечерняя звезда — очевидно, планета Венера. Девушка называет ее подругам «своим именем». Что это значит? Очевидно, имя девушки находится в каком-то отношении к названию вечерней звезды. Если бы удалось с несомненностью выяснить это отношение, то стало бы известно, какую именно из сестер Раевских имеет в виду элегия.

П. К. Губер доказывает, что поэт имел в виду Елену Раевскую: «Существовал древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской, и сестры Раевские могли знать об этом из какой-нибудь французской мифологической книжки. Кроме того, им мог расска-

зать это сам Пушкин, еще с лицейских уроков, вероятно, помнивший Горацианскую строчку «. . . fratres Helenae lumina sidera».[1]

Б. М. Соколов полагает, что элегия имела в виду Марию Раевскую. «Через И. Н. Розанова мы узнали», — пишет он, — «что Вячеслав Ив. Иванов, толкуя в руководимом им Пушкинском семинарии это стихотворение, объяснил, что в католическом мире Венера носит, между прочим, название „звезды Марии“».[2] Объяснение В. И. Иванова передано здесь не совсем точно. От М. О. Гершензона я слышал, что Вяч. Ив. Иванов толкует разбираемое место так: в средневековых католических гимнах дева-Мария называется stella maris (звезда моря), а stella maris было название планеты Венеры. Мне такое объяснение представлялось слишком ученым и громоздким: ну, где было знать Пушкину и девицам Раевским, как называли деву-Марию средневековые католические гимны? Однако, веское подтверждение мнению Вяч. Ив. Иванова мы находим в черновике Пушкинского «Акафиста К. Н. Карамзиной»:

Святой Владычице,
Звезде морей, Небесной Деве . . .[3]

Значит, Пушкину было известно название девы-Марии — stella maris.

Но элегия вызывает еще целый ряд вопросов и недоумений. На первый взгляд астрономическая картина в элегии вполне ясна: в Каменке Пушкин смотрит на Венеру, вечернюю звезду, и вспоминает, как два-три месяца назад любовался ею в Крыму, на вечернем же небе. Однако, в то время, когда Пушкин жил в Гурзуфе, Венера была не вечернею, а утреннею звездою. Об этом сообщает сам Пушкин в «Странствиях Онегина» (XIV):

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете *утренней Киприды*,
Как вас впервой увидел я . . .

Так оно в то время и было: в августе—сентябре месяце 1820 г., по справке Н. Н. Кузнецова,[4] Венера, действительно, была утренней звездою. На утреннем же небе Венера была еще видима и через три-четыре месяца, в пору пребывания Пушкина в Каменке.

[1] «Пушкин и графиня Н. В. Кочубей» — «Русское Прошлое» 1923 г., № 2, стр. 113. Ср. его-же книжку: «Дон-Жуанский список Пушкина», Пгр. 1923, стр. 77.

[2] «Княгиня Мария Волконская и Пушкин». Изд. «Задруги», 1922, стр. 23.

[3] «Пушкин и его современники», вып. XV, стр. 31.

[4] Н. Н. Кузнецов: «Вечерняя звезда в одном стихотворении Пушкина» — «Мироведение». Известия Русск. Общ. любителей мироведения, т. XII, № 1 (44), апрель 1923 г., стр. 87—90.

Н. Н. Кузнецов рисует себе дело так: в Гурзуфе Пушкин наблюдал Венеру по утрам; в Каменке какую-то яркую звезду, сиявшую на вечернем небе, он принял за «знакомое светило» — Венеру. В действительности это мог быть либо Сатурн, находившийся в 1820 г. в созвездии Рыб, либо — что вероятнее — Юпитер, стоявший в созвездии Водолея. В ноябре—декабре месяце обе планеты, конечно, должны были сиять вечером на западе. «Таким образом, — заключает Н. Н. Кузнецов, — Пушкин, хотя и ошибся, приняв Юпитера за Венеру, но всё же проявил незаурядную наблюдательность, признав в случайно проглянувшей из-за облаков звезде планету».

Н. Н. Кузнецов недостаточно внимательно вчитался в Пушкинскую элегию: «знакомое светило» и в Крыму было перед глазами Пушкина вечером, «когда на хижины сходила ночи тень».

Значит, и в Крыму, и в Каменке Пушкин наблюдал какую-то вечернюю звезду в то время, как Венера была утреннею звездою. Но какая-же звезда, кроме Венеры, может сиять на вечернем западе непрерывно в течение трех-четырех месяцев? Из неподвижных звезд — ни одна: надвигаясь день за днем на солнце, она за три-четыре месяца давно бы уж потонула в солнечном сиянии. То же самое нужно сказать и о двух планетах, упоминаемых Н. Н. Кузнецовым: Сатурн и Юпитер движутся по небу слишком медленно и не могут в течение трех-четырех месяцев отложить по зодиаку такой длинный путь, чтоб удержаться в положении вечерней звезды. Кроме Венеры, нет ни одной подходящей — ни планеты, ни звезды.

Можно бы возразить: здесь у Пушкина — поэтическая вольность, он писал о вечерней звезде, совсем не имея в виду ни хронологии, ни астрономической точности. Позволительно ли итти по следам тех пушкинианцев, которые каждое поэтическое слово Пушкина принимают за точнейшую фактическую правду? Однако, как раз в данном случае такое отношение является совершенно правильным: в трех последних стихах элегии было сообщено о каком-то вполне конкретном факте, — Пушкин не хотел опубликовывать этих трех стихов и пришел в великое негодование, когда Бестужев опубликовал элегию целиком: Пушкин боялся, как бы девушка по конкретному указанию заключительных стихов не догадалась, что речь идет о ней. В стихах же этих именно и говорится о вечер-

ной звезде, о том, как девушка называла ее своим именем. А Венеры то как раз в то время на вечернем небе и не было.

Что же это была за звезда? В элегии есть одна, обычно не замечаемая деталь, которая может помочь ответить на вопрос. Пушкин говорит: «я помню твой *восход*, знакомое светило...». Значит, звезда эта, во время пребывания Пушкина в Гурзуфе, по вечерам только *восходила*. Лишнее, между прочим, доказательство, что речь идет не о Венере: Венера ближе к солнцу, чем земля, и вечером, как известно, нельзя наблюдать ее восхода, — она после заката солнца загорается на западе.

Таким образом, в окончательном виде картина получается следующая. В ноябре—декабре 1820 г., в Каменке, Пушкин высоко на западе наблюдает «вечернюю звезду», — настолько яркую, что луч ее способен серебрить воды речного залива. Три-четыре месяца назад, в августе—сентябре, когда Пушкин жил в Гурзуфе эта же звезда восходила по вечерам на востоке.

Что это за звезда? Ответ едва ли может теперь представить какую-либо трудность. Конечно — Юпитер. По яркости, он следует непосредственно за Венерой. В 1820 г., как указано выше, он находился в февральском зодиакальном созвездии Водолея, значит, в ноябре—декабре стоял вечером на западе [23 ноября заход Юпитера — около полуночи, 13 декабря — в 10 час. 31 мин. веч., — см. вышеуказанную статью Н. Н. Кузнецова]. В августе—сентябре того же года Юпитер должен был находиться на противоположной солнцу стороне и вечером восходить на востоке из-за высокого хребта Аюдага.

Остается вопрос: знал ли Пушкин, что его вечерняя звезда — не Венера? Конечно, знал: в «Странствиях Онегина» он определенно говорит об «утренней Киприде». А в таком случае загадка последнего стиха элегии, — «именем своим подругам называла», — остается неразрешенной. Разгадки нужно искать не среди названий Венеры, а среди названий Юпитера.

В. Вересаев.

КАРАМЗИН И ПУШКИН.

(НЕСКОЛЬКО СОПОСТАВЛЕНИЙ).

Приводимые здесь сопоставления некоторых текстов Карамзина и Пушкина на полноту не претендуют; тем не менее, общее количество их не может не остановить внимания исследователя.

I. Реминисценции в отдельных частностях.

В этом первом отделе мы воздерживаемся от каких-либо выводов и предоставим говорить самим материалам.

Пушкинский стих

Любви все возрасты покорны

напоминает стих Карамзина:

Любви покорно все

(*«К неверной»*, *1796 г.*)

В «Послании к А. А. Плещееву» Карамзина (1794 г.) читаем

Тогда пустынницу явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты!

Последний стих, с той же рифмой к нему, почти в точности воспроизведен у Пушкина в «Элегии» 1821 года:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты,
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

И он же отразился позднее в III главе «Евгения Онегина»:

. . . . . .
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты, —

То же «Послание к Плещееву» Карамзина содержит следующие места:

Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет,
Хотя в нем горесть обитает:
Но мы для света рождены,
Душой, умом одарены,
И должны в нем, мой друг, остаться,
Чем можно будем наслаждаться ...
. . . . . .
Во тьме густой, в печальной мгле
Сверкнет луч солнца веселее ...
. . . . . .
Кто Муз от скуки призывает
И нежных Граций, спутниц их ...
. . . . . .
Тот в мире с миром ужится
И дней своих не прекратит
Железом острым или ядом;
Тому сей мир не будет адом:
Тот путь свой розой оцветит
Среди колючих жизни терний,
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тихим сном заснет.

Сравним у Пушкина, в сгущенном виде:

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Есть случаи внесения Пушкиным в стихи образов, как будто позаимствованных из художественной прозы Карамзина.

Вот из «Писем русского путешественника»:

«Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков ...

Гордый дуб, почтенный старец в мире растений» ...

У Пушкина:

Сяжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

В VII главе «Евгения Онегина» среди картин Грибоедовской Москвы, на которых так очевиден отпечаток тем, общей манеры и словесных оборотов «Горя от ума» (особенно строфы XLIV — XLV), в ямбы влит период, составленный по образцу прозы Карамзина, с сохранением стиля источника:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна
Средь жен и дев блестит одна.[1] (Строфа LII).

Сравним у Карамзина описание красоты Натальи в сравнении с другими девушками («Наталья боярская дочь»):

«Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобных розе, — роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной ... но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее».[2]

Укажем еще другое сравнение красавицы, которое сам Карамзин в другой своей повести приводит, в качестве старинного шаблона, в кавычках:

---

[1] Место это в VII гл. «Евгения Онегина» неправильно относили к Н. Н. Гончаровой-невесте. Явления стиля заставляют сделать другое биографическое приурочение. За приведенными строками следуют стихи:

С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный! ..
Но полно, полно, перестань,
Ты заплатил безумству дань.

А в лирике Пушкина эти сцепления стихов постоянно группируются при появлении не-названной темы «Мария Раевская-Волконская». См. «Бахчисарайский фонтан», стих. «Кто знает край» ... Об этом см. у П. Е. Щеголева: «Утаенная любовь. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина» и примечания П. О. Морозова к стих. «Кто знает край» ... в Академич. издании Соч. Пушкина (том IV). [Ср., однако, выше, стр. 90—91, и указанные там работы М. О. Гершензона и Н. О. Лернера. *Ред.*].

[2] Ср. еще у М. О. Гершензона: Статьи о Пушкине, М. 1926, стр. 115. *Ред.*

«Не так приятна полная луна, восходящая на небе между бесчисленными звездами, как приятна наша милая Царевна, гуляющая по зеленым лугам с подругами своими; не так прекрасно сияют лучи»... и т. д. («Прекрасная царевна и счастливый Карла»).

II. Источник Пушкинской «Мадонны».

У Карамзина же, по нашему убеждению, из его прозы взят Пушкиным и тематический материал для «Мадонны».

В «Письмах русского путешественника» (среди писем из Парижа) находим следующее место:

«Шесть дней сряду, в 10 часов утра, хожу я в улицу св. Якова, в Кармелитской монастырь... «Зачем? спросите вы: «за тем ли»... [и т. д.]. Нет: я хожу в Кармелитской монастырь для того, чтобы видеть милую трогательную Магдалину живописца Лебрюня, таять сердцем и даже плакать! Чудо несравненного искусства! Я вижу не холодные краски и не бездушное полотно, но живую ангельскую красоту, в горести, в слезах... [и т. д.]. Всё прелестно в Магдалине: лицо, стан, руки, растрепанные волосы, служащие покровом для лилейной груди, всего же прелестнее глаза ее, от слез покрасневшие... *Я видел много славных произведений живописи, жалея, удивляясь искусству; но эту картину желал бы иметь;* был бы счастливее с нею; одним словом люблю ее! *Она стояла бы в моем уединенном кабинете, всегда перед моими глазами*... Но открыть ли вам тайную прелесть ее для моего сердца? Лебрюнь в виде Магдалины изобразил прекрасную герцогиню Лавальер».

Здесь даны почти все те элементы мысли, какие составили материал «Мадонны». Идет речь о множестве «славных произведений живописи» и об удивлении перед их искусством, — сравним первый катрен «Мадонны». Так же, как и в «Мадонне», дается выделение из их множества одной картины, к которой автор испытывает особенное чувство, и именно желание иметь ее в своем «уединенном кабинете» (сравн. у Пушкина: «в простом углу моем, средь медленных трудов»),[1] «всегда перед глазами» (у Пушкина:

[1] Поэтизирование «сладостных занятий любителя муз в тихом кабинете» (выражение Батюшкова) — тема, впервые внесенная в русскую поэзию Карамзиным и очень характерная для карамзинизма. Она занимает видное место в кругу любимых тем лирики Пушкина.

«желал быть вечно зритель»). Дается описание картины, и в конце художественного эпизода у Карамзина «открывается», в чем «тайная прелесть» любимой картины для сердца поэта: «в виде Магдалины» изображена «прекрасная герцогиня Лавальер», привлекательная своей трогательной для чувствительного автора судьбою.

У Пушкина в конце рассматриваемого стихотворения иной оборот поэтической мысли:

Исполнилось мое желанье ... и т. д.

Следует мадригальная гипербола концовки:

.... тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Но та же, более традиционная поэтическая тема — «в прекрасной картине узнается прекрасная женщина»,—тема, выступающая в заключении нашего отрывка из «Писем» Карамзина, использована Пушкиным в тот же момент его жизни (1830 год) в письме к невесте, Н. Н. Гончаровой:

«Прекрасные дамы спрашивают у меня ваш портрет и не прощают мне того, что у меня его нет. Я утешаю себя, проводя целые часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды. Я купил бы ее, если бы она не стоила 40,000 рублей».

В. В. Баранов в своей статье «Новый текст Мадонны» («Пушкин. Сборник I», под ред. Н. К. Пиксанова, М. 1924) в числе интересных вопросов, связанных с этим стихотворением, называет и вопрос «об оригинале Мадонны», то-есть о той картине, которую упоминает Пушкин в этом письме. Нам не совсем понятно, что получил бы исследователь, если бы ему удалось установить, примерно, под каким номером в каталоге Эрмитажа значится картина, в которой поэт субъективно усматривал известное сходство с Гончаровой.[1] Может быть, это прояснило бы для него религиозные переживания Пушкина, которые будто бы представлены в сонете «Мадонна»? Нам же кажется, что приведенное место из письма к невесте—явная словесная стилизация «под Карамзина», живо напоминающая указанный нами в «Письмах» эпизод о хождении в Кармелитский монастырь для любования Магдалиною Лебрюня.

Сходство прекрасной женщины с прекрасною картиной, их тождество или даже превосходство живой прекрасной женщины,

[1] Из картин Эрмитажа такое сходство при желании можно усмотреть в Рафаэлевской Madonna Conestabile (№ 1667 в VII зале).

прославляемой поэтом, по сравнению с картиной или статуей знаменитого художника, — традиционная в ту пору поэтическая тема.[1] Пользование ею очень показательно для характера эстетических восприятий у Карамзина: интимное любование избранным произведением искусства, жажда вечного созерцания его «в уединенном кабинете». Но весьма сомнительно — и, главное, совершенно несущественно для историка литературы, — ходил ли в действительности Карамзин ежедневно в Кармелитский монастырь, или Пушкин — смотреть на Мадонну. Интереснее тот литературный факт, что названная тема представлена в лирике Пушкина в стихотворении «Kennst du das Land», 1827 года. Там молодая женщина с «идеальною красой» и «небесными чертами» любуется художественными сокровищами Италии —

И ничего перед собой
Себя прекрасней[2] не находит.
Стоит ли с важностью очей
Пред Флорентинскою[2] Кипридой
Их две ... и мрамор перед ней
Страдает, кажется, обидой.
Мечты возвышенной полна,
В молчаньи смотрит ли она
На нежный образ Форнарины
Или Мадонны молодой, —
Она задумчивой красой
Очаровательней картины.

О стихотворении этом указывалось, что в описании итальянских памятников искусств, которые видит путешественница, заметны следы чтения «Чайльд-Гарольда».[3] У Пушкина называются те же имена — Кановы, Рафаэля, — так же упоминается Венера Медицейская («Флорентинская Киприда»).

[1] В работе М. Г. Давидович: «Женский портрет у русских романтиков первой половины XIX в.» (сборник «Русский романтизм», 1927) подобран обильный материал, вполне подтверждающий это положение нашей статьи (написанной в 1924 г.). «Сравнения с живописными или скульптурными произведениями» при описании женской внешности пригодились романтикам и сделались у них литературной модой в связи с их тяготением к живописности, pittoresque, и недостаточностью слова. Эти сравнения являлись «высшим выражением восторга перед красавицей». Отсюда «беспредельный гиперболизм».

[2] Так нами прочитано по автографу.

[3] Указывалось Н. Ф. Сумцовым. Н. О. Лернер также находит, что в этой вещи налицо «романтизирование Италии вполне в Байроновском духе».

И тема сравнения красавицы именно с Мадонной встречается и у Байрона. Например, в «Беппо» о венецианках сказано:[1]

Напоминают, стоя на балконе,
Красу Мадонн картин Джорджионе.

Очевидно, пользование этой темой у Пушкина связано было с определившимся у него в конце 20-х—начале 30-х годов особым тяготением к пластическим искусствам. Мы видим, в эту пору ему вспоминались яркие впечатления Байрона от художественных ценностей Италии, представленные в «Чайльд-Гарольде». За отсутствие таких впечатлений он обвинил Монтэня (которого, впрочем, весьма ценил) в отсутствии чувства прекрасного («Всем известно, что французы народ самый анти-поэтический. Славнейшие представители сего остроумного и положительного народа: Монтань, Монтескье, Вольтер доказали это. Монтань, путешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэле» ...)[2]

Таким образом, введение темы о Мадонне в сонете Пушкина есть явление литературного стиля, связанное с определенным моментом в эволюции художественного мировоззрения поэта, с его школой, а нисколько не свидетельство о его религиозных чувствах и представлениях, и в этом отношении мы принципиально возражаем против построений В. В. Баранова. Лирика вообще ни о чем действительном не свидетельствует прямо, и каждое отдельное стихотворение обыкновенно является продуктом длительного «торможения» в сознании поэта пережитого и думанного, истолкования его в традиционных литературных образах и обрастания постепенно развивающимися второстепенными тематическими деталями.

При литературном подходе к стихотворению «Мадонна» показательна прежде всего та его особенность, что тут в форму сонета облечен любовный мадригал невесте. Высокость сонетного стиля тем самым снижается, а «легкость» мадригала заменяется своеобразной полушутливой торжественностью. Для Пушкинского мадригала характерно отнесение к концу главного комплимента, подготовляемого в первой части более или менее замысловатою

[1] They look when leaning over the balcony,
Or stepp'd from out a picture by Giorgione (Beppo, XI).

[2] Между прочим, упрек несправедлив: Монтэнь упоминает, не называя только имени Микель-Анджело, его Моисея в числе наиболее понравившихся ему в Риме статуй («... et de la nouvelle bosouigne, le Moïse ... [etc.] — ce sont les statues qui m'ont le plus agréés à Rome»).

тематикой совсем другого рода, которая используется в заключении, как материал для сравнения или антитезы. Сонет также всегда стремится к концу, к заключительной pointe, и в этом общем свойстве с мадригалом Пушкинской манеры — основание для их оригинального соединения в «Мадонне».

Тематический материал для наполнения положенного для сонета числа строк, как мы видели, взят Пушкиным у Карамзина. «Пречистая и наш божественный Спаситель» использованы Пушкиным в «Мадонне» в качестве заднего тематического плана, в роли сравнения в любовном мадригале. Если рассматривать это, как свидетельство об отношении поэта к религии, то такое употребление религиозных образов представляется скорее кощунственным, чем дающим основание заключать, что Пушкин «утвердился в вере».[1]

В лирике Пушкина подобное употребление не раз имело место ранее «Мадонны». До «Гавриилиады» у Пушкина обычнее сопоставления пира любви с ритуалом служения языческим богам,[2] после «Гавриилиады» преобладают аналогии любовного служения с культом владычицы небесной.[3]

Наконец, в том же незаконченном стихотворении «Ты знаешь край...», где у Пушкина ярче всего (до «Мадонны») выступает сопоставление воспеваемой красавицы с красавицей — созданием художника (см. выше), любимая женщина в его воображении равняется с богоматерью и даже как бы затмевает ее своим духовным величием.

[1] Отметим, что в работе Е. Кисляцыной об отношении Пушкина к религии «Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова. — Пушкинист IV»), ни о «Мадонне», ни о мадригалах с именем «Владычицы» не сказано ни слова.

[2]
... Как верный сын Пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры... (1819) и друг.

[3] Срвн. мадригал кн. Хованской «Ты богоматерь, нет сомненья»... (1827 г.); срвн. «Акафист Е. Н. Карамзиной» (1827 г.):

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем:
Так посвящаю с умиленьем
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе сияющей так мило
Для наших набожных очес.

Дошедшая до нас часть стихотворения кончается следующим обращением к Рафаэлю:

И ты, Харитою венчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль,
Забудь еврейку молодую,
Младенца бога колыбель —
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах.
Пиши Марию нам другую
С другим младенцем на руках.

Мария, равная богоматери неземной прелестью и совершающая равный подвиг милосердия и пожертвования не только собой, но и сыном, это, конечно, Мария Волконская-Раевская, отправляющаяся в Сибирь за мужем-декабристом, оставляя малютку-сына.

Тут перед нами тот момент, когда сопоставление прославляемой женщины с богоматерью переносится Пушкиным из легких жанров в высокую лирику — и тем подготовляется «Мадонна».

Замечательно, что при переживании поэтом серьезной любви (к Марии Раевской, к Гончаровой), вскрывавшей в нем «задатки сентименталиста старой школы»,[1] словесное выражение своего восхищения любимой женщиной он стилизует по Карамзину. Срвн. «*У ночи много звезд прелестных*» в «Евгении Онегине», срвн. «Мадонну» и отрывок из письма к невесте...

И мы думаем, что «карамзинизм» Пушкина вовсе не только в мелочных невольных воспроизведениях или сознательных позаимствованиях отдельных стихов, образов, мотивов, вовсе не только в известном отношении «Бориса Годунова» к «Истории» Карамзина: задатки карамзиниста старой школы представляются нам в Пушкине глубокой подводной струей, редко заметной на поверхности, но бесспорно значительной для понимания в нем и человека, и поэта, и общественного деятеля. Сентиментализм, как идейное течение, определяет круг важнейших тем произведений Пушкина. И, может быть, небезосновательно писал А. Марлинский, современник, столь близкий к нашему поэту, что карамзинизм, *плод воспитания*, сказывался в литературной деятельности Пушкина всю жизнь и наложил свою печать и на лучшие его создания — «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина».

В. Бутакова.

[1] П. Е. Щеголев — «Утаенная любовь» Пушкина к Раевской.

ПИСЬМО ГР. М. С. ВОРОНЦОВА К П. Д. КИСЕЛЕВУ

С ОТЗЫВОМ О ПУШКИНЕ.

Odessa. 6 mars 1824.

C'est avec deux prières l'une contraire à l'autre mais également adressées à Votre amitié que je Vous attaque aujourd'hui, cher Павелъ Дмитріевичъ. La première c'est de remettre la lettre incluse de ma part à S. M. l'Empereur, si cela ne Vous dérange pas d'aucune manière, l'autre c'est de ne pas le faire pour peu que la chose ne Vous soit pas agréable ou commode pour le moment, et d'être bien persuadé que je ne douterois pas un instant pour cela de Votre amitié et de Votre obligeance et que je serois bien sûr que vous aurés tout fait pour le mieux, et dans ce cas veuillés remettre le paquet à Bulgakoff qui l'enverra comme étant venu par la poste.

A présent je Vous dirois un peu sur le contenu de cette lettre dont personne n'a lu ici un mot excepté Kaznachéeff qui a eu la complaisance de la copier. — J'aurais bien mieux aimé ne pas l'écrire et demander permission de venir faire une course à Pétersbourg mais le service dans ce moment ne me le permet pas. — Les histoires de ce pauvre Perofsky en Crimée me forcent d'y aller tout de suite pour 15 jours et de nouveau tout de suite après pour assurer le commencement du chemin de la côte méridionale que je suis autorisé à construire et que je regarde comme une chose de la plus haute importance. Je ne voudrois pas non plus paraitre à Pétersbourg sans avoir vu Taganrok tant pour ce port en lui même que parce que je sais que l'Empereur tient à ce que je m'en occupe. — Je dois donc ici penser non à mes propres intérêts mais au service et ce n'est pas la première fois que je me suis cru obligé en faire de même.

D'un autre coté il étoit impossible de ne rien dire, ayant écrit à l'Empereur pour lui proposer le général Lessofsky pour la place de gouverneur à Ekaterinoslav j'ai eu pour reponse, que Lessofsky

a toujours été impliqué dans les intrigues et désordres de la 3-me division de Hussards et qu'il m'a sûrement été recommandé par des gens qui comme lui aiment le désordre etc. — Je Vous assure sur mon âme et conscience que quoique je savois que Lessofsky n'étoit pas sur un bon pied avec Roth, je n'avois pas la moindre idée qu'il étoit impliqué ou soupçonné de l'être dans des désordres et son caractère exact et sûr au service m'aurait fait croire au contraire. — Il étoit venu à Odessa pour deux jours il y a de cela quelques semaines et m'a dit qu'il alloit quitter le service et desiroit d'entrer au civil. — Quand j'appris à Kicheneff la mort de M. Zalaban je me ressouvins de Lessofsky et le proposai dans la seule idée qu'il feroit un très bon gouverneur, j'ai pu me tromper mais certainement je n'aurois pas présenté un homme que j'aurois cru impliqué ou même soupçonné d'intrigues et personne au monde ne m'en [a] jamais dit un mot.

Sur le compte de ces person[n]es je voudrais qu'on examine qui est auprès de moi et avec qui je parle d'affaires. Si c'est sur le compte de Pouchkin et d'Alexandre Raefsky je Vous dirois que pour ce dernier je ne puis l'empecher d'être à Odessa quand il en a envie, mais depuis que nous en avons causé avec Vous, à peine ai je pour lui les formes exigées par la politesse envers un ancien camarade et un parent et certainement jamais nous n'échangeons un mot sur les affaires ou sur les hommes à employer — par tout ce qui me revient sur son compte il est sage et réservé dans tous ses discours et sent je crois sa situation et surtout le tort qu'il a fait à son père. Pour Pouchkin je ne lui dis que 4 mots dans 15 jours, il a peur de moi parce qu'il sait bien qu'au premier bruit que j'aprends de lui je le renverrois et qu'alors personne déjà ne voudra se charger de lui et je suis bien sûr qu'il se conduit beaucoup mieux et qu'il est bien plus réservé dans ses discours qu'il ne l'étoit auprè[s] du bon général Insoff qui s'amusoit à disputer avec lui croyant le corriger par la logique et puis le laissoit vivre tout seul à Odessa tandis que lui même étoit à Kicheneff. Par tout ce que j'apprends sur lui et par Gourief et par Kaznachéef et par la police il est très sage et réservé à présent, s'il en étoit le contraire je le renverrois et personellement j'en serois enchanté car je n'aime pas ses manières et je ne suis pas si enthousiaste de son talent — on ne peut être véritable poëte sans étudier et il n'a aucune étude.

Une fois obligé d'entamer cette question, j'ai dit quelques mots dans ma lettre sur l'avancement du 12 Décembre (chose dont je n'ai jamais soufflé le mot même à ma femme). Je ne puis que voir la suite des impressions qu'on a données à l'Empereur dans cette occasion —

ayant avancé 16 personnes on ne se seroit pas arretté à mon nom tout juste sans quelque raison pareille car je ne puis croire que c'est par ménagement pour Emme et Sivers quoique j'ai bien conçu que je n'avois pas le droit d'espérer à mon retour de France de passer par dessus Pahlen, Lambert ou Wassiltchikof. De tous les avancés pas un n'a autant servi que moi ni n'a eu d'aussi forts commandemens devant l'ennemi, pas un en même tems n'est aussi ou du moins pas plus activement employé dans ce moment. C'est donc une humiliation que j'ai reçue devant toute l'armée et par quoi l'ai je méritée? Ne dois je pas supposer que bientôt on me passera ainsi par dessus la tête? et ne dois je pas regretter ma rentrée en activité, car une fois bien hors de service et tranquille chés moi tout en adressant des prières journalières pour la gloire et le bonheur de mon Souverain et de mon pays, je serois parfaitement indifférent et aux avancemens et même aux exploits militaires s'il y avoit guerre — l'ambition s'il y en a eu chés moi a disparu et j'ai trop vecu et suis trop heureux dans mon intérieur pour ne pas préférer le repos à la chance de nouvelles occasions et de nouveaux desagrémens. Je ne me soucierois pas plus d'une nouvelle lotterie d'activité que je ne me suis soucié de celle de Golovine où presque seul en Russie je n'ai pas songé à prendre un seul billet. Remarqués encore que dans cet avancement se trouve Щербатовъ qui a été quelque tems plus jeune J.t — gén. que moi et qui a obtenu un ancienneté que j'aurois pu solliciter aussi puisque Bagration sur son lit de mort m'avoit recommandé pour le rang, m'ayant vu attaqué, me deffendant contre 60.000 h. et blessé sous ses yeux.

Une des raisons pour lesquelles j'ai osé m'adresser dans cette occasion à Votre amitié, c'est que cela peut dispenser l'Empereur de l'ennui (que sa bonté pourroit lui procurer) de me faire encore repondre. Je suis déjà faché et honteux de l'obséder, mais en vérité il m'étoit impossible de me taire.

Souvenés Vous, cher Павелъ Дмитріевичъ, qu'excepté Kaznachéef personne ne sait un mot ni de cette démarche ni de mes sentimens sur l'avancement. —

Tout à Vous M. Woronzow.

(Перевод). Двумя своими просьбами, из которых одна противоречит другой, но обе одинаково обращены в расчете на Вашу дружбу, атакую я Вас сегодня, дорогой Павел Дмитриевич. Первая — передать от меня прилагаемое письмо его величеству государю, если только это не составит для Вас каких либо затруднений, вторая — не делать этого в случае, если исполнение представилось бы для Вас мало-мальски неприятным или неудобным в настоящее время, и быть вполне уверенным, что я ни на минуту не усомнюсь ни за этого в Вашей дружбе и в Вашей готовности оказать услугу, будучи убежден, что Вы сделаете всё к лучшему; в этом последнем случае благоволите передать пакет Булгакову,[1] а он направит его по принадлежности, как будто бы пакет прибыл по почте.

Теперь скажу Вам несколько слов о содержании этого письма, из которого никто здесь не читал ни строки, кроме Казначеева,[2] любезно вызвавшегося его переписать. Я предпочел бы не писать его и испросить разрешение на приезд в Петербург, но служебные дела в данную минуту не позволяют мне этого. Истории бедного Перовского[3] в Крыму заставляют меня безотлагательно поехать туда на две недели, а вслед затем снова туда же вторично, чтобы обеспечить начало работ по сооружению дороги вдоль Южного Берега, которую мне разрешено построить и которую я считаю делом самой неотложной важности. Не хотелось мне также появляться в Петербурге, не побывав в Таганроге, как из за самого порта, так и потому, что я знаю, что государь настойчиво желает, чтобы я им занялся. При таких обстоятельствах мне приходится думать не о своих личных интересах, но о службе, и это не в первый раз, что я счел себя обязанным поступить именно так.

С другой стороны было невозможно молчать; написав государю и предложив ему генерала Лесовского[4] на должность Екатеринославского губернатора, я получил в ответ, что Лесовский всегда был замешан в интригах и беспорядках 3-ей гусарской дивизии и что очевидно он был рекомендован мне людьми, которые, как и он, любят беспорядок, и т. д. Уверяю Вас по чистой совести, что хотя я и знал, что Лесовский не был в хороших отношениях с Ротом,[5] но не имел ни малейшего представления о том, что он был замешан или подозреваем в беспорядках; его характер исполнительный и строгий по службе скорее давал мне основание

---

1 Константин Яковлевич Булгаков, С.-Петербургский почт-директор.

2 Александр Иванович Казначеев, правитель канцелярии гр. Воронцова по должности Новороссийского генерал-губернатора.

3 Старший из побочных сыновей гр. Алексея Кирилловича Разумовского л. ст. сов. Николай Иванович Перовский (р. 1788, ум. 22 IV 1858), Феодосийский градоначальник (с 25 V 1820). В связи с «историями», о которых пишет гр. Воронцов (см. также письмо гр. Нессельроде от 18 III 1824 — Архив кн. Воронцова, том XII, стр. 10), Перовский 23 IV был уволен в годовой отпуск и более к должности не вернулся.

4 Генерал-майор Степан Иванович Лесовский (р. 21 I 1782, ум. 11 XI 1839), бывший командир Кинбурнского драг. полка, с 17 VII 1819 командир 1 бригады 3 гусарской дивизии; С. И. Лесовский был внебрачным сыном кн. Николая Васильевича Репнина от связи его с Анастасией Николаевной Нелединской-Мелецкой, рожденной Головиной; приказом от 11 V 1824 он был переведен на должность командира 2 бригады 1 конно-егерской дивизии, впоследствии был Курским губернатором (1827—1830), потом начальником (последовательно) 4, 3 и 2 округа корпуса жандармов и, наконец, сенатором (с 21 VI 1834).

5 Генерал-лейтенант Логгин Осипович Рот, командир 3 пехотного корпуса.

думать обратное. Он приезжал в Одессу на два дня несколько недель тому назад и сообщил мне о предстоящем оставлении им военной службы и о желании служить по гражданскому ведомству. Когда я узнал в Кишиневе о смерти г. Цалабана,[1] я вспомнил о Лесовском и предложил его единственно из соображений, что он был бы хорошим губернатором. Я мог ошибаться, но конечно я не представил бы человека, которого я считал бы замешанным или даже подозреваемым в интригах, и никто никогда не говорил мне об этом ни слова.

Относительно же тех людей [на которых намекают], я хотел бы, чтобы взглянули, кто находится при мне и с кем я говорю о делах. Если имеют в виду Пушкина и Александра Раевского, то по поводу последнего скажу Вам, что я не могу помешать ему жить в Одессе, когда ему того хочется, но с тех пор, что мы говорили о нем с Вами, я только еле-еле соблюдаю с ним формы, которые требует благовоспитанность в отношении старого товарища и родственника, и уж конечно мы никогда не разговариваем о делах или о назначениях по службе — по всему, что до меня о нем доходит, он благоразумен и сдержан во всех своих речах и понимает, я полагаю, свое положение и, главным образом, тот вред, который он причинил своему отцу. Что же касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных слухах о нем, я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его на свою обузу; я вполне уверен, что он ведет себя много лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился при добром генерале Инзове, который забавлялся спорами с ним, пытаясь исправить его путем логических рассуждений, а затем дозволял ему жить одному в Одессе, между тем как сам оставался в Кишиневе. По всему, что я узнаю на его счет и через Гурьева,[2] и через Казначеева, и через полицию, он теперь очень благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уже поклонник его таланта — нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно.

Будучи вынужденным коснуться вопроса о производстве 12 декабря, я сказал в письме своем несколько слов по этому поводу (о чем я никогда не говорил ни слова даже своей жене). Я не могу не видеть в данном случае последствий тех впечатлений, которые внушили государю, — произведя в следующий чин 16 человек, не остановились бы как раз перед моим именем без какого-либо подобного основания, так как я не могу думать, чтобы сделали это из соображений не обидеть Эмме и Сиверса, хотя я отлично понял, что я не имел никаких прав надеяться при моем возвращении ли

[1] Трофим Матвеевич Цалабан, д. ст. сов., Екатеринославский губернатор 1823—1824; см. о нем Русск. Биограф. Словарь, том Фабер-Цивловский, стр. 450.
[2] Граф Александр Дмитриевич Гурьев, Одесский градоначальник.

Франция пройти раньше Палена, Ламберта или Васильчикова. Из всех вновь произведенных ни один не служил столько, как я и не имел таких высоких командований на боевом фронте, ни один из них в то же время не имеет такого же или по крайней мере более ответственного поста в настоящее время. Это следовательно унижение, которое я получил перед лицом всей армии, и чем же я его заслужил? Не должен ли я предположить, что скоро станут скакать через мою голову? и не приходится ли мне пожалеть о своем возвращении на действительную службу, так как, находясь совсем в отставке, на спокое дома, и возвося ежедневно молитвы о славе и благополучии своего государя и родины, я мог бы быть совершенно равнодушным к производствам и даже военным подвигам в случае войны, — честолюбие, если оно и было у меня, исчезло и я слишком много жил и слишком счастлив в своей семейной жизни, чтобы не предпочитать покой возможности новых случайностей и новых неприятностей. — Я не стал бы беспокоиться по поводу новой служебной лотереи более того, чем я интересовался лотереей Головина,[1] когда я был почти единственным человеком в России, который не подумал взять на нее билет. Заметьте еще, что в этом производстве — Щербатов, который был одно время моложе меня в чине генерал-лейтенанта и добился старшинства, о котором я также мог бы хлопотать, потому что Багратион на смертном одре представил меня к производству, видев как меня аттаковали, как я сражался против 60-тысячной армии и был ранен на его глазах.[2]

Одна из причин, почему я позволил себе обратиться в настоящем случае к Вашей дружбе — соображение, что таким образом я мог бы устранить для государя скучную обязанность (с которой он по своей доброте мог бы считаться) отдать приказание об ответе мне на письмо. Мне и так неприятно и стыдно утруждать его, но, по правде, мне не было возможности молчать.

Помните, дорогой Павел Дмитриевич, что кроме Казначеева никто ничего не знает ни о том факте, что я писал государю, ни о моих чувствах по поводу производства.

Весь Ваш М. Воронцов.

---

[1] Для ликвидации долгов незадолго до того умершего обер-шенка графа Николая Николаевича Головина (ум. 2 VI 1824) была устроена 12 VI 1823 года лотерея, на которой главным выигрышем было принадлежавшее Головину имение Воротынец, в Васильсурском уезде Нижегородской губ.; подробности об этой лотерее см. в письмах К. Я. Булгакова к брату за 1822 и 1823 год, в частности «Русский Архив» 1904, I, стр. 434.

[2] Главнокомандующий 2 западной армией князь Петр Иванович Багратион был ранен под Бородиным, при атаке французами Семеновских укреплений, и скончался от этой раны 12 IX 1812 в имении князя Б. А. Голицына — Симах, Владимирской губернии. Воронцов, командуя в составе 2 армии сводной гренадерской дивизией, также принимал участие и был ранен в сражении под Бородиным.

Отношения Пушкина к гр. М. С. Воронцову составляют до сих пор недостаточно выясненную страницу в биографии поэта. В многочисленных и разнообразных суждениях о причинах, вызвавших их взаимную неприязнь, послужившую одним из поводов высылки Пушкина в Михайловское, содержится не мало сомнительных и затемняющих дело догадок, в которых не последнее место обычно уделяется любовной подоплеке. В резких суждениях о Воронцове за его отношение к Пушкину нельзя не усмотреть субъективного подхода к оценке фактов в зависимости от наших симпатий и антипатий. Был-ли Пушкин во всем безупречен в отношении Воронцова, а тот кругом виноват перед Пушкиным, подлежит еще большому сомнению. А затем возникает вопрос, так ли уже ссылка в Михайловское была для поэта хуже и тягостнее ссылки в Одессе, где он, по собственному его выражению, получал не жалование, а «паек ссыльного невольника».

Быть может, рано или поздно всплывут новые документы, которые дадут возможность пересмотреть вопрос заново и разрешить его на основании более достоверных материалов. Одним из таких документов является издаваемое мною ныне письмо Воронцова к И. Д. Киселеву от 6 марта 1824 года,[1] устанавливающее положение вещей за три недели до письма Воронцова к графу Нессельроде от 28 марта 1824 года, когда он впервые заявил официальную просьбу «убрать» Пушкина из Одессы. Основываясь на высказанной в письме к Киселеву угрозе репрессий против Пушкина «au premier bruit que j'aprends de lui», следует в промежуток времени между 6 и 28 марта искать тот ближайший повод, те дурные слухи, которые заставили Воронцова привести угрозу в исполнение.

Отмечу еще одно соображение, которое приходит на мысль в связи с отказом на назначение Лесовского в Екатеринослав. Отказ сообщен был Воронцову в обидной форме — высказано было предположение, что Воронцов находится под влиянием любящих беспорядок лиц, рекомендовавших ему Лесовского. И Воронцов, присматривавшийся очень внимательно к настроениям Петербургских сфер, подозревавший интриги против себя, из-за которых он не произведен в генералы-от-инфантерии, чем, по его словам, он

[1] Подлинник этого письма находился в той части архива Киселева, которая осталась у наследников его биографа А. П. Заблоцкого-Десятовского и от них поступила в 1920 году в Главархив.

унижен перед всей армией, реагирует на этот намек, называя имена Пушкина и Александра Раевского. Возникает вопрос, не было ли каких-нибудь сообщений из Петербурга, в которых этот намек на Пушкина был сделан в более конкретной форме. А тут припоминается отзыв П. А. Вяземского о Воронцове: «он человек приятный, благонамеренный, но не пойдет донкихотствовать против власти ни за лицо, ни за мнение, какие бы они не были, если власть поставит его в необходимость объявить себя за них или за нее» (Переписка Пушкина, Акад. изд., т. I, стр. 104). Если такие намеки ему действительно делались, то конечно Воронцов не стал бы из-за Пушкина портить отношения с Петербургом.[1]

Содержащийся в письме к Киселеву отзыв Воронцова о Пушкине, опять таки интересный тем, что он является наиболее ранним из всех известных до сих пор, не представляется неожиданным при наличии разницы в возрасте, воспитании, среде и темпераменте и пролегавшей отсюда взаимной антипатии. В частности относительно того, что Воронцов называет манерами, нельзя не признать, что по существу Воронцов был прав. Очаровательный, блестящий, неоценимый в интимной, дружеской *мужской* среде, Пушкин в большом обществе, среди мало знакомых лиц, должен был быть действительно мало приятен. Вспомним хотя бы то, как вел себя Пушкин в Каменке у Давыдовых во время пребывания там И. Д. Якушкина, о чем тот рассказал нам в своих Записках. Отзыв Воронцова о Пушкине, данный в частном дружеском письме, всё-таки менее резок и менее обиден, чем эпиграммы Пушкина на Воронцова, предназначавшиеся для широкой публики

А. А. Сиверс.

[1] Отмечу появившуюся не так давно заметку в «Красной Газете» (веч. вып. 13 IV 1924) «Дорога в Зуево», за подписью «Антон Амнуэль», где высказывается мысль, что ближайшие Одесские обстоятельства в вопросе о высылке в Михайловское имели второстепенную, а главная причина лежит в отношении к поэту центрального правительства (вернее Александра I), смотревшего с недоверием на широкую популярность Пушкина.

РАССКАЗ К. И. САВОСТЬЯНОВА О ВСТРЕЧАХ С ПУШКИНЫМ в 1829 и 1833 г.

В сообщаемом ниже письме один из современников Пушкина описывает две встречи с поэтом, одну в 1829 г., когда Пушкин, проездом на театр войны, провел несколько дней в Тифлисе, а другую — в 1833 г., когда Пушкин возвращался из Оренбурга.

Автор письма — Константин Иванович Савостьянов, помещик Пензенской и Тамбовской губерний (род. 21 декабря 1803 г., скончался 20 ноября 1871 г.), старший брат знаменитого археолога и собирателя христианских древностей И. И. Савостьянова. Женат был на княжне Марии Владимировне Волконской и со времени женитьбы (12 ноября 1841 г.) постоянно проживал в селе Пёртове, Шацкого уезда Тамбовской губ.

Нам не удалось найти сведений, служил-ли К. И. Савостьянов в 1829 г. на Кавказе, или был там случайно в качестве туриста.

Адресат письма — известный знакомец Пушкина и благоговейный его почитатель Владимир Петрович Горчаков (род. 1800 г., скончался 18 февраля 1867 г.), напечатавший воспоминания о Пушкине в «Москвитянине» за 1850 г. Пушкин познакомился с ним еще в Кишиневе и надолго сохранил с ним дружеские отношения. К нему обращено стихотворение «Зима мне рыхлою стеною...», 1823 г. Подробные сведения о В. П. Горчакове собраны у Б. Л. Модзалевского в «Письмах Пушкина», Том I, 1815—1825, Госиздат, 1926 г., на стр. 235 и 262.

Письмо К. И. Савостьянова печатается с сохранившейся у нас авторизованной копии, в нескольких местах исправленной автором, им самим подписанной, с указанием, кому это письмо было послано и по какой причине. Копия эта была передана нам сыном автора

письма, покойным Влад. Конст. Савостьяновым, а теперь передана нами в Пушкинский Дом.

К сожалению, в копии нет даты и определить ее представляется весьма затруднительным, но по внешнему виду, по бумаге и др. признакам ее можно отнести к началу 1850-х годов.

Описываемое празднество в честь Пушкина надо относить к одному из дней между 26 мая и 10 июня 1829 г. У самого Пушкина нет указаний на числа, которые он провел в Тифлисе, а по «Хронологической канве к Кавказскому путешествию А. С. Пушкина в 1829 г.», составленной Е. Г. Вейденбаумом («Кавказская поляна о Пушкине». Изд. газеты «Кавказ», Тифлис. 1899 г.), — пребывание Пушкина в Тифлисе датируется указанными числами.

Печатаемое здесь письмо интересно не только по самому своему содержанию, но и по тому восторженному чувству, с которым оно написано и по той передаче внешнего облика поэта, каким мы привыкли представлять его себе из описаний других современников.

Милостивый Государь

Владимир Петрович.

По словам одного Восточного Поэта «Память об людях благовоннее розы, слаще винограда».

В последнюю нашу приятную беседу, за завтраком, в Пертове, между разговором о незабвенном для нас А. С. Пушкине, когда я Вам рассказывал многое о нем замечательное, Вы просили меня изложить на бумаге всё, что только я знал об нем особенного во время моего с ним знакомства.

Принимаясь за перо, я доставляю себе двойное удовольствие: воспоминать о человеке, которого так глубоко уважаю и до сих пор, и вместе с тем исполнить Ваше желание.

Заранее прошу Вас не ожидать от меня, в тесных рамках этого письма моего, чего-нибудь литературного, входящего в состав идеи о народном поэте нашем, а приготовьтесь слушать просто рассказ о том, что для Вас будет приятно вычитать потому только, что Вы дорожите безусловно всем, что когда-либо относилось до А. С. Пушкина.

Первое мое знакомство с Пушкиным было в Грузии в 1829 г., куда он приезжал искать впечатлений в новый для него край и с целью сделать поход в Турцию в бывшую тогда войну.

Однажды, это было в Тифлисе, за обедом у издателя Тифлисской газеты[1] Санковского, когда разговор коснулся до оды его «Наполеон», я, по младости и живости моего характера, необдуманно позволил себе заметить А. С. Пушкину, что он весьма слабо изобразил великого полководца, назвавши его баловнем побед, тогда как Наполеон по своим гениальным воинским способностям побеждал не случайно, а по расчету. Пушкин, взглянувши на меня не совсем благосклонно, принял мою выходку строптиво: быстро перервал разговор и замолчал. Обдумавшись после, я сознал в душе, что не слишком вежливо поступил в этом случае, и сильно досадовал на себя за свою излишнюю скорость.

Впоследствии времени, когда уже мы сошлись ближе, он один раз, бывши в самом веселом расположении духа, напомнил мне об этом с извинением передо мною, что он круто принял мое замечание, а я, в свою очередь, со всем чистосердечием, сознался ему, что и я не имел права так резко произнести мой приговор над его произведением, в присутствии его, не бывши знаком с ним коротко. Так это и кончилось общим смехом.

В бытность Пушкина в Тифлисе, общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей.

Нужно-ли говорить о том, с каким восторгом приветствовали все Великого Поэта на чужбине? Всякой, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякой жаждал беседы с ним.

Наконец всё общество, соединившись в одну мысль, положило сделать в честь его общий праздник, устройство которого было возложено на меня. Из живописных окрестностей Тифлиса не трудно было выбрать клочек земли для приветствия Русского поэта. Выбор мой пал на один из прекрасных загородных виноградных садов за рекою Кур. В нем я устроил праздник нашему дорогому гостю в европейско-восточном вкусе.

Тут собрано было: разная музыка, песельники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях дерев, а в средине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30 единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя.

[1] «Тифлисскія Вѣдомости» издавались с 1-го іюня 1828 г. по 1831 г. еженедельно. Издание правительственное. Редактор П. С. Санковский. *А. Д.*

Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его громким ура с выражением привета, как кто умел.

Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и пр.

Все веселились от души, разговаривали, шутили, смеялись, и одушевление всех было общее. Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песня, и Ахало, и Алаверды,[1] и Якши-ол, и Байрон был на сцене, и всё европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромной Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. — Действительно, Пушкин в этот вечер был в апотеозе душевного веселия, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа; он был не только говорлив, но даже красноречив, между тем как обыкновенно он бывал более молчалив и мрачен. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений! Как часто он вскакивал с места, после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пёстрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предался ребячей веселости! Несколько раз повторялось, что общий серьезный разговор останавливался при какой-нибудь азиатской фарсе, и Пушкин, перерывая речь, бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или имеретинского импровизатора с вольнкой.

Но всё имеет свою череду, — и наш незабвенный вечер начинал уже сменяться утром. Парчевая синева южного неба начала уже румяниться, и всё засуетилось приготовлением русского радушного хлеба-соли нашему незабвенному гостю.

Мигом закрасовался ужинной стол, уставленный серебряными вазами с цветами и фруктами и чашами с грузинскими азарпешами и кулами[2] и все собрались в теснейший кружок еще поближе

[1] Грузинские песни. *А. Д.*

[2] «Азарпеш — серебряный ковшик в роде разливательной ложки, коим Азиатцы пьют вино. Слово Азарпеш происходит от татарского и означает вещь, годную на всякое употребление». «Кула, твор. пад. кулами — серебряный кувшин с длинным и узким горлом». Из «Тифл. Вед.» 1829 г., № 37. *А. Д.*

к своему гостю, чтобы наслушаться побольше его речей, наглядеться на него и, конечно, для многих в последний раз.

Всё опять заговорило, завеселилось, запело, и эту беседу можно было почесть за излияние души одного человека. Так задушевное ‹веселие?› всего общества было стройно. Наконец, когда поднялся заздравный кубок шипучего Аи, всё общество снова слилось в одно чувство, живое, пламенное, восторженное чувство. Тут, когда торжественно провозглашен был тост Пушкина, снова застонало в воздушном просторе новое ура при искрах шампанского из заветных кубков во имя виновника праздника.

Крики ура, все оркестры, музыка и пение, чеканье бокалов и дружеские поцелуи смешались в воздухе. Всё ликовало. Когда европейской оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из La Dame blanche,[1] на русского Торквато надели венок из цветов, посадили в кресло и начали его поднимать на плечах своих при беспрерывном ура, заглушавшем гром полного оркестра музыки.

Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякой из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражали ему, как кто умел, свои чувства, свою радость видеть его среди себя и благодаря его от лица просвещенных современников и будущего потомства за бессмертные творения, которыми он украсил русскую литературу.

На все эти приветы Пушкин молчал до времени и одни теплые слёзы высказывали то глубокое приятное чувство, которым он тогда был проникнут.

Наконец, когда умолкли несколько голоса восторженных, Пушкин в своей стройной благоуханной речи излил перед нами душу свою, благодаря всех нас за то торжество, которым мы его почтили, заключивши словами: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего; я вижу, как меня любят, понимают и ценят, — и как это делает меня счастливым!»

Когда он перестал говорить, — от избытка чувств бросился ко всем с самыми горячими объятиями и задушевно благодарил за эти незабвенные для него приветы.

До самого утра пировали мы с Пушкиным, и это время, конечно, останется неизгладимым в памяти каждого из нас.

Всё описанное мною есть только слабый очерк нашего пира в честь Пушкина.

[1] Опера французского композитора Boieldieu, 1825 г. *А. Д.*

«Ты не увлишь тутъ искусства,
За то найдешь прямыя чувства, —
Я не поэтъ, а гражданинъ».[1]

Вскоре после того мы проводили Пушкина в Турцию и по возвращении оттуда — обратно в Россию. Многие желали и ожидали от него описания Турецкой кампании, но он не захотел этого по неприязненным отношениям с начальством края.[2]

Я с ним не видался с 1829 г. до 1834 г., но не могу умолчать о нашей примечательной встрече.

Когда я возвращался с покойным отцом моим из Петербурга в Пензенскую губернию, во Владимире на Клязьме я был застигнут страшным воспалением в желудке. В несколько дней, проведенных мною там для медицинского пользования, хотя и восстановилось несколько мое расстроенное здоровье, но я, после этой изнурительной болезни, в самое короткое время до такой степени изменился в лице, что меня почти не узнавали даже семейные родные. Наконец, укрепивши свои слабые силы, отец мой и я продолжали путь свой через Нижегородскую губернию. На одной станции, по пути от Арзамаса до Лукоянова, в селе Шатках, отец мой, во время смены лошадей, вошел в станционную избу позавтракать, а я, несовсем еще освобожденный от болезненной слабости, оставался в карете до тех пор, пока отец мой прислал непременно звать меня войти в избу для какой-то особенной надобности. Едва я отворил дверь станционного приюта, весьма некрасивого, как Пушкин бросился мне на шею, и мы крепко обнялись после долгой разлуки. В это время мы провели вместе целые сутки. Пушкин заехал ко мне в дом и с большим интересом рассказывал свежие впечатления о путешествии своем по Оренбургской губернии, только что возвратившись оттуда,[3] где он собирал исторические памятники, устные рассказы многих свидетелей того времени стариков и старух о Пугачеве. Доверие, произведенное к себе этим историческим злодеем во многих невеждах, говорил Пушкин, до такой степени было сильно, что некоторые самовидцы говорили ему лично с полным убеждением, что Пугачев был не бродяга, а законный царь Петр III, и что он только напрасно потерпел наказание от злобы и зависти людей.

[1] Стихи Рылеева из Посвящения «Войнаровского» А. А. Бестужеву. *Ред.*

[2] Т. е. с Паскевичем. *Ред.*

[3] Поэтому надо предполагать, что описываемая встреча произошла в конце *сентября* 1833, а не в 1834 г., как обозначил автор. *А. Д.*

Пушкин в эти часы был чрезвычайно любезен, говорлив и весел. На покойного отца моего сделал он удивительное впечатление, так что он, вспоминая о Пушкине, часто говорил, что в жизнь свою он не встречал такого умного и очаровательного разговора, как у Пушкина.

После сего мы расстались с Пушкиным и — навечно, ибо через два года его уже не было на свете.

В этот промежуток жизни его я с ним имел переписку и доставлял ему некоторые сведения о бытности самого Пугачева в г. Саранске и окрестностях его и о неистовых действиях шайки Пугачевской по многим местам Пензенской губернии и прочем.

Вот Вам всё примечательное о незабвенном Пушкине во время моего с ним знакомства.

Всё, что относится до воспоминания об нем, я глубоко сохранил в душе своей с полным уважением к его имени, как гениального народного поэта, как человека и как гражданина, равносильно драгоценного и до сих пор для многих. Кто имел случай знать его близко, тот, конечно, и по смерти его уважает и любит в нем создание прекрасное, благородное, приносящее честь родной стране своей и даже человечеству.

В заключение всего передам Вам о замечательной встрече с Пушкиным отца моего, который рассказал мне все подробности ее. Когда он вошел в станционную избу на станции Шатки, то тотчас обратил внимание на ходившего там из угла в угол господина (это был Пушкин); ходил он задумчиво, наконец позвал хозяйку и спросил у нее чего-нибудь пообедать, вероятно ожидая найдти порядочные кушанья по примеру некоторых станционных домов на больших трактах. Хозяйка, простая крестьянская баба, с хладнокровием отвечала ему: «У нас ничего не готовили сегодня, барин». Пушкин всё таки, имея лучшее мнение о станционном дворе, спросил подать хоть щей да каши: «Батюшка, и этого нет, ныне постный день, я ничего не стряпала, кроме холодной похлёбки».

Пушкин, раздосадованный вторичным отказом бабы, остановился у окна и ворчал сам с собою: «Вот я всегда бываю так наказан, черт возьми! Сколько раз я давал себе слово запасаться в дорогу какой-нибудь провизией, и вечно забывал и часто голодал, как собака».

В это время отец мой приказал принести из кареты свой дорожный завтрак и вина и предложил Пушкину разделить с ним

дорожный завтрак. Пушкин с радостью, по внушению сильным аппетитом, тотчас воспользовался предложением отца и скоро удовлетворил своему голоду, и когда, в заключение, запивал вином соленые кушанья, то просил моего отца хоть сказать ему, кого он обязан поблагодарить за такой вкусный завтрак, чтобы выпить за его здоровье дорожною флягою вина. Когда отец сказал ему свою фамилию, то он тотчас спросил, не родня-ли я ему, назвавши меня по имени, и когда он узнал, что я сын его и что я сижу в карете, то с этим словом послано было за мною, — и мог-ли я не удивиться встретить Пушкина в грязной избе на станции?!

Подписано:

«К. Савостьянов. Письмо это с изложением моих хороших отношений с Александром Сергеевичем Пушкиным было писано мною к Владимиру Петровичу Горчакову, по его убедительной просьбе».

Нам представляется наиболее интересным в этом письме то место, где говорится, как на голову поэта был возложен венок, и поэт, возседая на возвышении, слушал слова приветствия восторженных своих почитателей.

Очевидно, в программу устроителей празднества входило воспроизведение древней церемонии «венчания лаврами», и Пушкин разрешил им эту форму выражения внимания к себе — повидимому, с полной серьезностью.

Сообщил А. Достоевский.

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ В МОСКВЕ В 1830 ГОДУ.

Печатаемый ниже отрывок из одного письма 1830 года, найденного в архиве Мурановского Музея,[1] является, как и всякое свидетельство современника, не безынтересным материалом для биографии Пушкина. Это — письмо Надежды Петровны Озеровой, в замужестве Базилевской (род. 1810, ум. 1863), к ее приятельнице Софии Львовне Энгельгардт, из Москвы.[2] Письмо, как будет выяснено ниже, относится к весне 1830 года.

Приводим строки, касающиеся поэта:

«Nous avons été voir la Semenof jouer et je Vous avoue, mon cher ange, que cette pièce de Kotzebue m'a assommée par sa longueur et ses insipidités; il n'y a eu que 600 personnes à l'assemblée et la salle a été assez vide. En fait de connaissances intéressantes il y a eu la Gontcharof avec Pouschkine. A juger d'après sa phisionomie on croirait qu'il est faché de n'avoir pas été refusé comme il l'a supposé. On assure qu'ils sont déjà fiancés, mais personne ne sait dire de qui on tient cela; on prétend encore que la mère Gontcharof s'est fortement opposée au mariage de sa fille, mais que la jeune personne l'a fléchie. Elle a l'air d'être fort entichée de son promis, mais lui a l'air tout aussi glacial qu'avant, mais joue le sentimental».

Перевод: ...«Мы ездили смотреть Семенову, и я признаюсь Вам, мой милый ангел, что эта пьеса Коцебу меня замучила своей длинотой и нелепостями; в собрании было только 600 человек и зала была довольно пуста. В числе интересных знакомых были Гончарова с Пушкиным. Судя по его физиономии, можно подумать, что он досадует на то, что ему не отказали, как он предполагал. Уверяют, что они уже помолвлены, но никто не знает, от кого это известно; утверждают кроме того, что Гончарова-мать сильно противилась свадьбе своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде, хотя разыгрывает из себя сентементального».

[1] Музей-усадьба «Муранова» имени поэта Ф. И. Тютчева (музей историко-литературный) — Сергиевского уезда Московской губ., в $3\frac{1}{2}$ верстах от Ашукинской ж. д. Северных ж. д.

[2] С. Л. Энгельгардт, в замужестве Путята (род. 1811, ум. 1884), жена литератора Н. В. Путяты (род. 1802, ум. 1877) и свояченица поэта Е. А. Боратынского, владевшая «Мурановым».

Мнение Н. И. Озеровой, что Пушкин «досадует на то, что ему не отказали», не совсем справедливо. Из писем поэта (напр., к П. А. Плетневу — в начале мая 1830 г. или, правда официального, письма к А. Н. Гончарову — от 3 мая 1830 г.) видно, что он был более, чем доволен полученным согласием.

Сообщение же Озеровой, что поэт «так же *холоден*, как и прежде», — вполне совпадает со словами самого Пушкина в письме к Плетневу от 31 августа 1830 г.: «Свадьба моя отлагается день ото дня далѣе, между тѣмъ *я хладѣю*». Озерова и Пушкин употребляют один и тот же глагол «холодеть». Несомненно, что для окружающих поэт действительно мог казаться холодным, и что Н. И. Озерова верно подметила тогдашнее настроение поэта. Известно, какие тяжелые минуты приходилось переживать Пушкину во время длительного его сватовства, как из-за разных городских сплетен и толков и из-за неприятных сцен со своей будущей тещей он с нетерпением ждал дня свадьбы и отъезда из Москвы, а подчас, пожалуй, бывал готов бросить всякую мысль о женитьбе. Очевидно, что Н. И. Озерова видела поэта, уже утомленного разными Московскими пересудами, и настроение его не могло укрыться от постороннего наблюдательного глаза.

Хотя письмо Н. И. Озеровой не имеет никакой даты, кроме пометы «dimanche 11 heures du soir», однако, по следующим данным можно точно восстановить год, месяц и число встречи ее с Пушкиным, равно как и дату письма.

В «Московских Ведомостях» от 7 мая 1830 г. помещена заметка князя Шаликова о «благородном спектакле в пользу бедных». Спектакль был дан два раза: 27 апреля и 3 мая, в большом зале Благородного Собрания. Была представлена драма в 5-ти действиях «Ненависть к людям и раскаяние», соч. Коцебу. Об актерах, принимавших участие в спектакле, не упомянуто. В письме своем

Н. П. Озерова сообщает своей приятельнице, уехавшей в Мураново, как она провела первые три дня разлуки: пятницу, субботу и воскресенье, при чем встреча с Пушкиным произошла в субботу. 3-е мая приходилось как раз в субботу; следовательно, Пушкин присутствовал на втором представлении драмы Коцебу, 3 мая 1830 года, а письмо Озеровой написано на другой день, 4 мая.

Сообщил К. Ипарец.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ, ЛИТЕРАТОР И ЦЕНЗОР.

К ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ 1830-х ГОДОВ.[1]

I. ДЕТСТВО, ВОСПИТАНИЕ, СЛУЖБА В 1830-х ГОДАХ.

В. Н. Семенов был младшим братом небезызвестного в свое время поэта и драматурга Петра Николаевича Семенова, автора нескольких когда-то популярных пародий, оригинальной комедии-водевиля «Жидовская корчма» и переводов нескольких драм и иностранных опер для театра.[2]

Василий Николаевич родился в 1801 году (22 ноября) в Рязанской губернии, Раненбургского уезда, в с. Урусове, поместьи своего отца, где и провел детство и отрочество — в тех же домашних условиях, что и старшие его братья. В 1812, вернее в 1813 г.,[3] в эпоху Отечественной войны, когда его старший брат сражался в рядах нашей армии,[4] а следующие два брата — Николай (род. 1796 г.) и Михаил (род. 1798 г.) только-что начинали военную службу — тоже в Измайловском полку,— В. Н. был отвезен в Петербург к своей тетке, поэтессе А. П. Буниной, а вскоре затем помещен в учрежденный в январе 1814 г. Царскосельский Лицейский Пансион, а оттуда года через два переведен в Лицей, где в числе

[1] Очерк этот составлен на основании как официальных данных, архивных материалов и печатных источников, так и семейных воспоминаний. К сожалению, бумаги В. Н. Семенова, бывшие в руках одного из его внучатых племянников — П. П. Семенова, неизвестно как утрачены.

[2] О нем биографический очерк, нами написанный, был доложен на собрании в Пушкинском Доме в ноябре 1924 г., но еще не напечатан. О нем же сведения см. Труды Я. К. Грота, т. III, стр. 426—436.

[3] Из одного письма А. П. Буниной (февраль 1812 г.) можно заключить, что она уже тогда ждала его в Петербург («Русский Архив» 1908 г., кн. 4).

[4] Второй по старшинству, Александр, как и П. Н., — герой Бородина, вторично раненый, умер от раны после этой битвы.

воспитанников 2 выпуска и окончил курс в 1820 г. Таким образом, В. Н. в течение 3 лет (1814—1817) был свидетелем Лицейского периода развития и жизни Пушкина и был с ним в близких товарищеских отношениях (они были «на ты»), хотя и не на одном с ним курсе; эти отношения не прекратились и после — во время их одновременного пребывания в Петербурге — в последнее десятилетие жизни поэта (1826—1837 гг.), как это будет видно из последующего. Василий Николаевич, подобно старшему брату, был живого, подвижного темперамента, общительного, жизнерадостного нрава, талантлив и остроумен, соединяя со всем этим большое благодушие, обходительность, услужливость и благожелательность к людям, за что и был любим всеми. Преклоняясь перед гением Пушкина и следя со школьной скамьи за плодами его творчества, он знакомил с ними своих братьев, так что через него и Петр Николаевич Семенов[1] мог впервые читать в рукописях юношеские и первые более зрелые произведения поэта, продолжавшего и после выхода из Лицея частенько в него заглядывать.

О Василии Николаевиче в юности имеются воспоминания Эразма Стогова, его дальнего родственника (по Буниным) в его «Рассказах». Он знал его и в Лицее, и позже, в зрелом возрасте (в 30-х годах), и говорит, что «очень любил этого умного, благородного и доброго человека». «Василий Семенов, пишет он, ровесник мой, воспитывался в Царскосельском Лицее; в праздники мы были с ним вместе у тетки Буниной. Помню огромную разницу между нами: я специалист,[2] а он энциклопедист по наукам! Я казался неучем перед Васей! Его мягкие манеры, его готовность участвовать в разговоре были моей завистью. Он был истинно благовоспитанный барич, а — пеловкий матрос. Никогда не забуду, что я обязан Васе учебною славой в Корпусе. Тогда появилась метода отвечать урок своими словами, а не по книге; в Лицее уже введена была эта манера, а в Корпусе нет еще. Кажется, небольшая мудрость, но я не мог исполнить, пока Василий не дал мне три урока. Когда потребовали это в Корпусе, никто не исполнил; дошла очередь до меня — я отличился».[3]

В Лицее В. Н., повидимому, не отличался прилежанием и соревнованием. Он кончил курс в 1820 г. лишь с правами офицера

[1] В моем очерке о П. Н. Семенове говорится об этом подробнее.

[2] Воспитывался в Морском Корпусе.

[3] «Очерки и рассказы Э. Стогова» — «Русская Старина» 1879 г., т. 24, стр. 49—58.

в армии и поступил в Карабинерный полк, а в 1822 г. перевелся в л.-гв. Павловский полк; отсюда он стремился перейти в Измайловский, где служили его братья, но это ему не удалось, и он вскоре (в 1824 г.) совсем оставил военную службу, так как видимо она не удовлетворяла его: он ее не любил и тяготился ею. Его способности и склонности в связи с направлением Лицейского воспитания и Лицейских литературных влечений Пушкинского времени тянули его в область, дававшую большую пищу для ума, для удовлетворения его интересов к литературе, науке и просвещению. Не чувствуя в себе, однако, яркого и крупного литературного, вернее — поэтического дарования, чтобы исключительно посвятить себя профессии писателя, он, принужденный зарабатывать свой хлеб (так как своих домашних средств имел слишком мало), должен был вступить в гражданскую службу, — и тут-то сказались его преобладающие вкусы: он в феврале 1825 года был определен сверх штата в Канцелярию Министра Народного Просвещения и Главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий, тогда А. С. Шишкова.

Вся служебная карьера В. Н. Семенова, за малыми мимолетными исключениями, протекла в ведомстве Народного Просвещения, сперва по цензурной части, а затем по учебно-административной, при чем относящиеся к первой половине его 40-летней деятельности учено-литературные, особенно историографические труды и начинания его явно свидетельствуют о серьезном направлении его умственных интересов и стремлений, которые при другой, университетской подготовке и других условиях его жизни, более независимых, могли бы увлечь его на специально-ученое поприще.

При поступлении его в Канцелярию Министерства Народного Просвещения не обошлось вероятно без участливой помощи упомянутой тетки, известной поэтессы Анны Петровны Буниной; она, как мы знаем, находилась в дружественных отношениях с домом А. С. Шишкова, который, став Министром Народного Просвещения в мае 1824 года, добился учреждения в январе 1825 года Канцелярии Министра (Директором которой был назначен князь Н. А. Ширинский-Шихматов), и вероятно сумела пристроить в нее своего племянника. В. Н., поступив туда в феврале, уже в марте был включен в число канцелярских чиновников; через год он был уже помощником столоначальника, а в августе 1826 г. — столоначальником, так что на первые шаги своей карьеры он жаловаться

не мог. Бунина с нежным родственным участием относилась ко всем своим четырем племянникам п, пока жила в Петербурге (до 1824 г.), сколько могла, старалась быть им полезной и опекала их. Они столь-же сердечно относились к ней. Из переписки ее с одним из них, именно с Михаилом Николаевичем, тоже измайловцем, сохранилось несколько интересных ея писем, мною давно напечатанных.[1] В них она нежно отзывается о своем младшем племяннике, Васиньке, и здесь очень симпатично охарактеризован Василий Николаевич в свои молодые годы (1821—23 гг.), еще на военной службе. Нельзя не привести здесь нескольких строк, в которых сказалось и доброе любящее сердце, и трогательная заботливость самой А. П. Буниной. Это было в конце 1821 г., когда В. Н., по выходе из Лицея служил еще в Карабинерном полку[2] и стремился попасть в Измайловский (к братьям), но был в 1822 году переведен в л.-гв. Павловский, а в Измайловский почему-то не попал, не смотря на все хлопоты. «Скажу вам, писала Бунина 6 ноября, обращаясь к обоим братьям, Михаилу и Николаю: что Васинька, неделю тому назад, ушел в поход в должности квартирьера. Мне его очень жаль, так жаль, что я с самого его отъезда не могу преодолеть и рассеять своей скуки . . . У меня он был каждый день, исключая того времени, когда проказил, тогда — не смел глаз показать. Доброе его сердце и нежность к родным много обещают. Есть ли к несчастью сие обещание не вполне совершится, то по крайней мере нельзя его не любить. П. П. Мартынов[3] обошелся с ним весьма милостиво и обещал ему о переводе в свой полк. Васинька был в совершенном восторге; но я до тех пор не поверю и не могу радоваться, пока не увижу его в Измайловском мундире или по крайней мере не прочту в приказах. Опыты убедили меня, что обещание и исполнение суть два обстоятельства совершенно между собою разные. Постарайтесь, милые, всеми силами просите Мартынова, божитесь ему, что ей-ей Васинька у него не будет из дурных, — надеюсь, он останется им довольным. Васинька сам мне простодушно сказал, что под надзором и покровительством двух старших братьев он будет лучше. Он сделал дружескую связь с вашим Крюковым, которого я, хотя и не имею чести знать, но слышу, что он человек степенный. Жаль, что вы меня не предуведили о сем г. Крюкове и не сказали мне Вашего мнения, ибо для Васиньки ничто столь не важно, как связи с степенными людьми . . .» Далее, пеняя, что оба брата ей мало сообщают о себе, она прибавляет еще: «Стыдно и грешно оставлять меня в неведении. Не могу я не быть благодарною Васиньке, который, не смотря на величайшее в летах наших расстояние, всех Вас ко мне ближе».

Василий Николаевич, как было выше сказано, по характеру был человек живой, веселый, жизнерадостный. Естественно, что 21-го года от роду, только-что выйдя из Лицея и надев офицерский мундир, он не мог отличаться «степенностью», благоразумием и уравновешенностью. Конечно, в порывах и увлечениях молодости, он может быть иногда переходил меру, может быть покучивал с товарищами, много развлекался, вообще «проказил», по выражению Буниной, а последняя, хотя и прощала ему всё это, но была всё же озабочена, как-бы он не сбился с пути в легкомысленной среде, и потому так желала, чтобы он попал в Измайловский полк, под опеку и наблюдение своих старших братьев. Мы знаем уже, что это не осуществилось, но что военная служба скоро настолько надоела В. Н., что он ее совсем бросил, проведя, впрочем, целые два года в Павловском полку и уволившись из него лишь осенью 1824 года. Таким образом, декабрьские события 1825 года застали его уже на гражданской службе — чиновником Канцелярии Министра Народного Просвещения А. С. Шишкова.

О Василии Николаевиче в период военной его службы и вообще юности мы узнаем еще несколько фактов, заслуживающих упоминания, из двух современных источников: из сохранившегося в рукописи (в фамильных бумагах у А. П. Семенова-Тян-Шанского) дневника его брата, Измайловского офицера Мих. Ник. Семенова, — за весь 1823 г.[1] и из интересных и живых «Воспоминаний» декабриста А. С. Гангеблова, напечатанных в «Русском Архиве» 1886 г. (кн. II, стр. 181). Гангеблов, полковой товарищ двух старших братьев

[1] «Русский Архив» 1908 г., кн. 4. См. там сведения о Мих. Ник.; сохранился еще его любопытный дневник за 1823 г., имеющий значение не только историко-биографическое, но и бытовое. Он передан, вместе со статьей о нем, в Пушкинский Дом.

[2] С 1816 г. карабинерными полками назывались 7 гренадерских егерских полков, а кроме того были «учебные» карабинерные полки, приготовлявшие для армии унтер-офицеров, музыкантов, барабанщиков.

[3] Командир Измайловского полка, на которого в 1808 г. И. Н. Семенов сочинил свою известную пародию на оду «Бог» Державина. О нем см. в издании Дневника Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского, Пгр. 1923, а также в дневнике М. Н. Семенова.

[1] См. выше, примечание, стр. 138.

В. Н. Семенова (Николая и Михаила), проживший с ними в их офицерской артели около 3-х лет и дружески с ними сблизившийся, был в приятельских отношениях и с В. Н., находившимся под покровительством братьев, часто их посещавшим и даже временно с ними жившим, а потому и в «Воспоминаниях» его не раз встречается имя В. Н. В любопытном в бытовом отношении дневнике Мих. Ник. Семенова, которому я посвятил особый очерк, пока еще не опубликованный,[1] имеется, понятно, много сообщений и упоминаний как о Гангеблове, так и о брате автора — В. Н. Семенове. Из записей дневника видно, что Василий Николаевич за этот 1823 год несколько раз подвергался взысканиям, выговорам и сидел под арестом на гауптвахте за разные служебные промахи и неисправности. Это уже довольно красноречиво рисует отношение его к военной службе. Его начальник генерал Бистром однажды словесно грозил ему даже переводом тем-же чином в армию. Другая запись дневника касается литературных интересов В. Н. и повествует о том, как он взялся хлопотать о разрешении цензурой напечатания известного произведения его старшего брата-поэта Петра Николаевича «Митюха Валдайский» — пародии на «Дмитрия Донского» Озерова. Вероятно, В. Н. имел уже тогда какие-то связи в цензурном ведомстве и — окрыленный каким-то обещанием цензора Красовского — отвез ему эту пьесу. Но разумеется, познакомившись с ней, этот известный обскурант и гаситель литературы наотрез отказался цензуровать пьесу, которая, после нескольких других попыток, так и осталась неизданной (до 1860-х годов).[2] Другое упоминание о В. Н., также касающееся литературы, имеется в «Воспоминаниях» Гангеблова по поводу одного эпизода в 1825 г. Незадолго до событий 14 декабря Гангеблов, принятый в члены Тайного Общества и обуреваемый сомнениями, решил посоветоваться со своим школьным товарищем и другом Я. И. Ростовцовым (о котором был высокого мнения) и два раза ездил к нему из Петергофа в Петербург, но оба раза неудачно, так как заставал у него гостей (так что его намерение не осуществилось). Во второй раз у Ростовцова сидели приятели: В. Н. Семенов и Башуцкий (литератор). Гангеблова встретили словами: «Вот кстати, а у нас

[1] В нем, кроме материала автобиографического и биографического, немало черт, характеризующих военный быт и настроение офицерства в годы, предшествовавшие декабрьскому восстанию.

[2] Подробности в еще не напечатанном очерке моем, посвященном П. Н. Семенову.

сегодня маленькое литературное заседание»: читали отрывки из «Князя Пожарского», — трагедии, которую писал тогда Ростовцов; читал не сам автор (он был запка), а В. Н. Семенов...». Как видно, В. Н., оставивший уже за год перед тем военную службу, мог теперь дать волю своим литературным вкусам.

К этому-то приблизительно времени относится важная перемена в жизни В. Н. Семенова. Родственное сближение с семьей, в которой он нашел свое семейное счастье, заставило его остепениться, начать дорожить новой службой и серьезно избрать себе поле деятельности. С этого же времени имя его начинает встречаться в мемуарной литературе, относящейся к той эпохе, особенно в дневниках Погодина и А. В. Никитенки, с которыми судьба его сблизила, и встречается по большей части в связи с названным в рассказе Гангеблова историческим лицом, с которым он в эту пору породнился, а именно — с Я. И. Ростовцовым.

В 20-х числах декабря 1825 г. М. П. Погодин, еще не зная ничего верного о событиях, разыгравшихся в столице, поехал в Петербург в компании со своим университетским товарищем и другом Н. А. Загряжским, и здесь они остановились в доме родственника последнего, т. е. у Вас. Ник. Семенова (Загряжские были Рязанские соседи Семеновых и в дальнем родстве с ними). Погодин сообщает: «каждый вечер к нам приходил родственник Семеновых, поручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Иванович Ростовцов и рассказывал нам о последних событиях...»[1] Из этого известия надо заключить, что В. Н. был уже тогда женат.[2] Во всяком случае, с Я. И. Ростовцовым В. Н. был близок уже с юных лет, вероятно и по военной службе. Через Ростовцова он и познакомился, а вскоре и женился на его двоюродной сестре, Александре Ивановне Уваровой. Мать последней, Пелагея Ивановна Уварова, и мать Я. И. Ростовцова, Александра Ивановна, были родные сестры, рожденные Кусовы. Итак, в этот приезд в Петербург Погодин познакомился и сошелся с Василием Николаевичем, и оставался с ним в самых добрых, дружеских отношениях до последних его дней. Почти в то же время, в начале января 1826 г., судьба свела с Семеновым и молодого, тогда еще начинающего студента А. В. Никитенку, который также сошелся с ним через Ростовцова, оценил

[1] Барсуков, «Жизнь и труды Погодина», I, стр. 328.

[2] Правда, в формулярном списке его, заключенном в 1827 г., он отмечен еще холостым, но это очевидно является просто канцелярским упущением.

его симпатичные душевные качества и не раз поминает его добрым словом в своем «Дневнике». Под 7-м января Никитенко, говоря о дружеских своих отношениях с Ростовцовым, записал: «Я между прочим познакомился у него еще с В. Н. Семеновым, который мне показался очень добрым человеком. Он служит при Министре Народного Просвещения и сам вызвался поговорить обо мне с нашим ректором, с которым хорошо знаком».[1]

Своею деловитостью, знаниями и способностями В. Н. не замедлил выдвинуться среди чиновников Канцелярии Министерства Народного Просвещения и в марте 1827 г. был назначен членом учрежденного в мае 1826 г. «Комитета устройства учебных заведений». Однакож и эта, хотя и более живая, но всё же, по его скромной роли, канцелярски-сухая работа видимо не могла его удовлетворить: его влекло в сферу, непосредственно соприкасающуюся с близкими его сердцу русской наукой и литературой, — сферу, в которой он надеялся принести более пользы, — и вот через несколько месяцев (в мае 1827 г.) он изъявляет желание служить в Главном Цензурном Комитете (новый Устав о цензуре был утвержден в июне 1826 г.), где открылась вакансия цензора. Отзыв Директора Канцелярии Министра Ширинского-Шихматова о нем в письме к генерал-лейтенанту Карбоньеру (члену Главного Правления Училищ) был очень лестен: он, по словам своего начальника, «отличался всегда благородным поведением и особенным усердием к службе», а потому — «при необыкновенных способностях и основательном знании иностранных языков» он полагает его «совершенно заслуживающим занять место цензора», оставаясь в полной надежде, что «сопряженные с сим званием обязанности будет он исполнять... с особенной пользою для службы». И действительно, в июле 1827 г. последовало назначение его цензором с оставлением в Канцелярии Министра, но без жалованья. Однако же, на сей раз его деятельность в этой должности продолжалась очень недолго. Можно предполагать, что крайне жестокий и стеснительный для литературы и весьма тяжелый для цензоров Цензурный Устав 1826 г. разочаровал либерально-настроенного В. Н. Семенова в его надеждах найти духовное удовлетворение в новой службе. К этой причине присоединилось может

[1] «Дневник Никитенки», I изд., Т. I, стр. 182. Ректором Университета с 1823 г. был А. А. Дегуров, профессор истории в Петербургском, а ранее в Харьковском Университете.

быть и действительное расстройство здоровья, и уже в декабре 1827 г. он просится для поправления здоровья в отпуск на 6 месяцев на Кавказ и вскоре затем уезжает туда, получив желаемый отпуск и 2000 рублей пособия. Однако-же он не только 6 месяцев, а почти весь 1828 г. провел на Кавказе, испросив в сентябре, из Кисловодска, продление отпуска до 1 ноября и, получив разрешение, вернулся в столицу только в этом месяце. По очевидно цензорская должность при данных условиях настолько еще мало привлекала его (хотя в апреле 1828 г. и был уже утвержден новый, менее стеснительный Цензурный Устав), что уже в конце ноября он увольняется от этой должности, оставаясь причисленным к Министерству Народного Просвещения.

В 1829 г. произошел в карьере В. Н. Семенова, не знаем под каким влиянием, внезапный уклон, правда, очень кратковременный, в сторону, в совершенно другую служебную область: в феврале он, оставив Министерство Народного Просвещения, был определен начальником I Отделения Департамента Уделов, но уже в декабре 1830 года по прошению был уволен от этой должности. Несомненно этот эпизод в его службе был обусловлен какими-то случайными, нам неизвестными обстоятельствами, быть может чьим-то сторонним влиянием и податливостью, свойственной характеру Семенова. Удовлетворить его такая служба конечно не могла, и уже через 5 месяцев, в июле 1830 года, В. Н. оказывается вновь, на сей раз в звании «стороннего цензора» в Главном Цензурном Комитете, заместив ушедшего К. С. Сербиновича, в каковой должности и остается до своего невольного, вынужденного постоянными придирками к нему (за либерализм) выхода из цензурного ведомства в 1836 г.

II. ЦЕНЗОРСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. Н. СЕМЕНОВА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Цензорская служба, сама по себе очень беспокойная и утомительная, принесла *Василию Николаевичу* за эти шесть лет множество волнений, служебных неприятностей, а также разочарований, так как он, одушевленный наилучшими надеждами и стремлениями, натыкался беспрестанно на проявления и выпады того тупого и узкого по отношению к литературе гасительного направления правительства, того безнадежного обскурантизма, которые царили тогда у нас во всем государственном режиме, а в частности и особенно

в цензуре. Применяться к цензурным требованиям было для него нравственно тяжелой задачей, а между тем желание принести пользу литературе и ее деятелям заставляло его терпеливо нести это бремя и даже подвергаться всяким служебным внушениям и карам за недостаточную строгость и за проявление некоторой снисходительности и более широких и просвещенных воззрений в исполнении своих обязанностей. Что особенно удерживало В. Н. в цензорской службе — это связанные с ней близость к литературным сферам, вообще к литературе и, в частности, к тому кружку литераторов, который образовался около Пушкина и Дельвига, столь близких ему по Лицею, по его духу и традициям и которому он, как цензор, мог быть полезен. Горячий поклонник Пушкина и его творчества, многосторонне образованный и начитанный, хорошо владевший иностранными языками, В. Н. Семенов и сам, как о том свидетельствуют его труды 30-х годов, увлекался занятиями литературой, переводил, углублялся в изучения исторические и в русскую историографию, но, к сожалению, его слишком увлекающийся, непостоянный и нестойкий характер не давал ему сосредоточиться на чем-нибудь одном и специализировать свои труды. А позже, в 40-х годах он увлекся и отдал свучебно-административной деятельности и к серьезным литературным работам уже более почти не возвращался.

На первых же порах своей цензорской деятельности В. Н. пришлось испытать ее тягости и огорчения. Едва он вступил в должность, как ему в начале августа 1830 г. (назначение его последовало 21 июля) поручено было цензурование «Литературной Газеты» Дельвига (начиная с № 46, от 14 августа), а уже в конце октября разыгралась известная история за пропущенное им в № 61 четверостишие Казимира де ла Вина, сочиненное для Парижского памятника жертвам Июльской революции, к чему присоединилась еще придирка к нему, по жалобе Булгарина Бенкендорфу, за пропуск им в «Литературной Газете» (№ 59) замечаний о ложности некоторых известий в «Северной Пчеле», исходивших, как оказалось, из официального источника — через Бенкендорфа. Вся эта история преследования «Литературной Газеты» — в лице Дельвига и цензоров ее — подробно рассказана и разобрана в особой статье Н. К. Замкова,[1] а потому не представляется надобности по-

[1] «К истории Литературной Газеты бар. А. А. Дельвига» — «Русская Старина» 1916 г., № 5, стр. 245—281.

дробнее останавливаться на ней здесь. В результате, не смотря на вполне основательные объяснения по тому и другому поводу, представленные Семеновым в свое оправдание, Министр, по требованию Бенкендорфа, предписал попечителю сделать В. Н. строгий выговор, который, однако же, к счастью не был внесен в его формуляр. Известно, как невероятно грубо обошелся с Дельвигом вызывавший его по этому поводу Бенкендорф, как «Литературная Газета» была сперва совсем запрещена, а затем издание ее разрешено под другой редакцией (О. М. Сомова), как этот случай возмутил и потряс бедного Дельвига, вскоре затем заболевшего тифом и умершего в январе 1831 г. И на В. Н. Семенова эта история, в которой кроме него так пострадал глубоко чтимый им товарищ (при чем трудно сказать, кто из них кого невольно подвел), произвела настолько тяжелое впечатление, что он просил уволить его от рассматривания «Литературной Газеты», которая вновь перешла к цензору Щеглову.[1]

Вскоре затем, в мае 1831 г., над В. Н. чуть не разыгралась новая гроза — за пропущенную в «Северной Пчеле» юмористическую статью Булгарина «Станционный Смотритель». На этот раз Министр Народного Просвещения кн. Ливен увидел в этой статье чуть не воззвание к бунту и выходку против себя. В «Дневнике» Никитенки читаем под 22 мая, что Ливен сделал доклад Николаю I, чтобы отрешить цензора Семенова и наказать автора. Но конечно за Булгарина вступился Бенкендорф, а потому, разумеется, обещал, по рассказу Никитенки, вступиться и за Вас. Ник. Семенова. Под 28 мая Никитенко записал: «Дело о цензоре Семенове решено благоразумно: оно оставлено без уважения. Бедный Семенов, однако, сильно натерпелся в эти дни. Ныне немногие могут похвалиться твердостью духа не на словах только, но и на деле».[2] Такие печальные опыты за первый же год службы должны были сделать В. Н. более осмотрительным и осторожным в том смысле, чтобы не слишком много брать на свою личную ответственность, а прибегать во всех сомнительных случаях к коллегиальному решению дела в Цензурном Комитете. Такой случай вскоре затем и представился, когда в Петербург приехал, в сентябре 1831 г., тогда уже

[1] См. об этом там же, стр. 260—265, а также сб. «Пушкин и его современники», вып. XXIX—XXX, стр. 57, 121; «Жизнь и Труды Погодина», т. III, стр. 235; «Дневник А. В. Никитенки», 1 изд., кн. I, стр. 276.

[2] Записки и дневник Никитенки, т. I, стр. 289.

приятель его (после знакомства в 1825 г.) М. П. Погодин — хлопотать о напечатании своей трагедии «Петр I». Судьба опять поставила В. Н. между долгом службы и приятельскими отношениями, и ему пришлось выйти из такого щекотливого положения, отдав возникший вопрос и свои сомнения на благоусмотрение всего Комитета. Как известно, Комитет также не взял на себя разрешения вопроса и представил его на усмотрение Главного Управления Цензуры, которое в свою очередь представило всё на высочайшее благовоззрение, — и в результате напечатание трагедии было совсем запрещено.[1] Вся эта история подробно рассказана в труде Барсукова,[2] где изображены все волнения, тревоги и хлопоты, перенесенные Погодиным в Петербурге с сентября по конец ноября, пока он ждал решения судьбы своего детища: как он читал свою трагедию Петербургским литераторам — Одоевскому, А. В. Веневитинову, Жуковскому, Пушкину и др., как он, «благословясь», повез своего «Петра» на цензуру своего старого знакомого, «любезного» В. Н. Семенова, который пригласил его к себе обедать и тут же несколько обнадежил его касательно «Петра»; наконец, как все друзья его старались поддержать и как отнеслись к нему власть имущие. Но при строгости и придирчивости тогдашней высшей цензурной власти, да и при взглядах самого Николая трудно было и рассчитывать на пропуск такой вещи, как эта трагедия. Вас. Ник. Семенов, как цензор, не предрешая ничего, мог только представить свои сомнения в виде вопросов, для разрешения которых не находил руководства в цензурном Уставе. Погодин, как видно по всему, вовсе не был на него в претензии, и этот эпизод нисколько не повлиял на их дружеские отношения.

В. Н. служил, между прочим, для Погодина посредником в его встречах и свиданиях с Петербургскими литераторами. Так, искал случая встретиться с Погодиным Н. И. Греч и обратился для этого к В. Н., который и пригласил к себе обоих на вечер и писал Погодину: «Сегодня вечером будет ко мне Н. И. Греч — собственно на ваш счет. Ради бога приезжайте и не поставьте меня в дураках». Хоть Погодин и отметил в своем Дневнике, что

[1] Это произведение, несомненно для своего времени очень выдающееся и по содержанию, и по форме, увидело свет лишь в 1873 г., за два года до смерти автора: Трагедия в 5 действиях в стихах «Петр I», Москва, 1873. См. «Русская Старина» 1873 г., № 12.

[2] «Жизнь и труды Погодина», кн. III, стр. 334—341 и т. д.

«отказался», однако же всё таки очевидно потом передумал, так как затем там же сообщает об этом свидании с Гречем у Семенова.[1] Последний вообще отличался большим гостеприимством и часто устраивал у себя обеды и вечера с литераторами. Вслед за упомянутым вечером он устроил обед и писал Погодину: «Как хотите, а сегодня вы должны обедать у меня: я собственно для вас позвал Каратыгина и некоторых здешних литераторов». Однакож ни Погодин, ни Каратыгин на этот обед не попали, о чем узнаем из «Дневника» А. В. Никитенки, бывшего на этом обеде и записавшего 7 ноября: «Вчера был на литературном обеде у Вас. Ник. Семенова. Там были: Греч, Сомов, бар. Розен, Вердеревский, ожидали Погодина и Каратыгина, но им что-то помешало. Греч блистал неистощимым остроумием. Он чрезвычайно любезен в обществе. После стола у всех раскрылось сердце и развязались уста... Под конец нашей беседы пристали к Гречу, чтобы он разорвал свою связь с Булгариным, которого все притом не очень то вежливо называли. Греч согласился только в том, что он сумасшедший».[2]

Цензорские обязанности не мешали Вас. Ник. искать удовлетворения своей жажды литературного труда и посвящать часть своих сил на те или другие издательские или вообще литературно-просветительные начинания. В материалах цензурного ведомства за 1832 г. мы нашли любопытный след такого литературно-издательского замысла В. Н., оставшегося однако без осуществления, надо думать, по причинам, от него не зависевшим.

В конце 1832 года В. Н. Семенов представил в Цензурный Комитет прошение о разрешении ему издавать «Энциклопедический Журнал, извлечение из лучших иностранных периодических изданий о ходе наук, искусств и промышленности». «Смею надеяться, говорил он в этом прошении, что самое звание цензора, каким удостоило меня начальство, может служить достаточным удостоверением в познаниях, требуемых от меня, как от издателя журнала, и верной порукою в том, что в издании сем не встретят ничего противного правилам цензуры, ни одной даже несколько вредной для общественного порядка мысли. Единственная цель моя — способствовать трудами моими успехам просвещения, основанного на

[1] «Жизнь и труды Погодина», там же, стр. 333.

[2] «Дневник А. В. Никитенки», т. I, стр. 293.

чистейших правилах веры и нравственности, на преданности к властям и уважении к законам отечества»[1].

7 декабря 1832. Цензор Семенов.

К прошению была приложена следующая программа или объяснительная записка к журналу: «С быстрым распространением просвещения в отечестве нашем потребность книг и журналов, сообщающих известия о ходе наук, искусств и промышленности становится с каждым днем ощутительнее. Для удовлетворения по возможности сей потребности с начала 1833 г. будет издаваться в С.-Пб. *Энциклопедический Журнал, — извлечение из лучших иностранных периодических изданий о ходе наук, искусств и промышленности.* Само название сего журнала показывает, что в состав оного не могут входить ни известия политические, ни сочинения оригинальные, ни даже разборы произведений отечественной нашей словесности. Обнимая, подобно иностранным обозрам (Revues), все отрасли человеческих познаний и заимствуя материалы свои исключительно из иностранных периодических изданий, Энциклопедический Журнал будет заключать в себе только статьи переводные, а именно извлечения и отрывки из любопытных путешествий, археологические изыскания, биографии известных писателей, разборы их произведений, педагогические и технологические опыты, ученые рассуждения, библиографию всех вновь выходящих сочинений с кратким разбором оных, известия о заседаниях иностранных академий и ученых обществ, ученые задачи, предлагаемые на разрешение и наконец известия о всех открытиях и улучшениях по части наук, искусств и промышленности».

«Более сорока отличных иностранных журналов, получаемых в редакцию, доставят издателю возможность выбирать из оных только самое новое, самое занимательное. Редактор льстит себя надеждою, что, передавая русским читателям всё лучшее и полезное в Европейской литературе, он трудами своими будет хотя несколько содействовать успехам просвещения в любезном ему отечестве».

«Энциклопедический Журнал будет выходить ежемесячно — книжками от 12 до 15 печатных листов в 8 долю. Бумага, шрифт, планы и географические карты (которые издатель по временам намерен прилагать к журналу) изящностью своею будут вполне соответствовать цели издания и вкусу просвещенных читателей,

[1] Последняя фраза, очевидно, должна была успокоить подозрительную власть, но, как увидим, и она не помогла делу.

для которых предпринимается журнал. Цена годовая изданию 40 рублей ассигн. с пересылкою и разноскою 45 руб. Для желающих получить какой либо № особенно — каждая книжка будет продаваться отдельно по 5 рублей.

Коллежский асессор Вас. Ник. Семенов».[1]

10 декабря Цензурный Комитет представил ходатайство В. П. в Главное Цензурное Управление. Однако же, дальнейшего движения этого дела не последовало, и в конце поданных бумаг имеется *отметка:* «по желанию цензора Семенова представления (т. е. дальнейшего) не было сделано». Кажется, не может быть сомнения, что Василию Николаевичу было сообщено с достаточно авторитетной стороны, что его прошение не может иметь успеха, что смелый проект его не осуществим. В сущности, можно было заранее ожидать со стороны правительственной власти не только неразрешения, но даже, пожалуй, осуждения задуманного в таких широких, привлекательных рамках действительно просветительного издания, столь мало соответствовавшего тем узким границам, в которых тогдашний режим допускал развитие и распространение научного знания, испытующей и критической мысли во всех ее сферах. Программа, дававшая в сущности полный простор изложению результатов прогресса, разбору и критике если не отечественной, то иностранной литературы, могла не на шутку испугать нашу власть, — тем более, что В. П. слыл, правда, человеком вполне благомыслящим и верноподданным, но всё же настроенным, по казенной мерке, слишком «либерально». Во всяком случае самый факт выступления В. П. с таким проектом и такой программою издания красноречиво говорят о том, как он хорошо понимал назревшие общественные потребности и запросы времени и как был одушевлен сильным стремлением серьезно потрудиться для их удовлетворения.[2] Он должен был однако убедиться из своей

[1] Архив цензурн. вед., № 207670, дело 1832 г. (№ 51).

[2] Здесь само собой напрашивается одно соображение и сопоставление. Затея В. П. не могла быть исключительно его личным делом. Со стороны своих литературных друзей и единомышленников он конечно должен был предварительно заручиться поддержкой и обещанием сотрудничества. Положение В. П., как цензора, внушало им надежду на успех его ходатайства. Журнальная монополия Булгарина и Греча была слишком несносна. Мы знаем, что Пушкин, давно уже увлекавшийся мыслью издания журнала или газеты, как раз перед тем, летом 1832 г., выхлопотал разрешение на такое издание (политической газеты). Однако разные причины побудили его отложить этот проект. Собственно его соблазняло более

неудачи, что для такого культурного предприятия время еще не наступило, что остается ставить себе более скромные задачи.

Таким очень скромным по задаче и по литературному значению делом, взятым на себя В. Н. Семеновым в течение 1832 г., было составление и издание литературного альманаха, вышедшего уже в начале 1833 г. под названием «Комета Белы. Альманах на 1833 год». О том, как возникла мысль об этом издании, нам ничего неизвестно: была ли тут инициатива исключительно Вас. Ник., или еще кого-нибудь из литераторов? Во всяком случае почин Вас. Ник. встретил сочувствие, что конечно свидетельствует главным образом о популярности и доверии, каким он пользовался. 27 литераторов откликнулись на его приглашение к участию в Альманахе. Название ему было дано — случайное — по первому полученному в него вкладу от М. П. Погодина. Последний тогда увлекался своими литературными опытами и прислал В. Н. Семенову свой очень живо написанный фантастический рассказ *о комете Биэлы* (открытой в 1826 г.), об астрономе Галлее и его ученике Джемсе, — рассказ, в котором маленькое зерно истины из истории астрономической науки разукрашено остроумным, затейливым вымыслом. Кроме Погодина, в отделе прозы приняли участие Шевырев, Греч, Сенковский, Булгарин и Глинский, а стихи свои дали Ф. Н. Глинка, Деларю (5 пьес), М. Дмитриев, Козлов, Языков, Крылов, Кукольник, Хомяков, Тепляков, Подолинский, В. Печерин, бар. Е. Розен, Шевырев, князь А. Шаховской, С. Раич, Я. И. Р-ц-в (т. е. Ростовцов), М. Марков, В. Щастный, кн. Мещерский, А. Комаров и Г. Р. Любопытно, что И. А. Крылов дал в альманах свое нигде до того не напечатанное «Подражание псалму 17-му», написанное еще в 1793 году. Принял в нем участие и друг В. Н. — Я. И. Ростовцов, подвизавшийся тогда, как известно, своими опытами и на литературном поприще. Посылая Погодину экземпляр своего «Альманаха», В. Н. писал ему: «Вот Вам экземпляр Альманаха моего, коего Вы были первым вкладчиком», и далее читаем: «Вы спрашиваете, что говорит Уваров. Он с особенною похвалою относится об вас,

издание журнала «Revue» с критическим отделом по иностранной литературе — вспомним его письмо об этом к Погодину (в сент. 1832), что ему «хочется уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы». Думается, что вполне уместно предположение, что он, осведомленный о проекте своего лицейского товарища и приятеля В. Н. издавать журнал, программа которого давала бы известный простор для критики иностранной литературы, мог иметь в виду и посулить В. Н. принять в нем некоторое участие.

о ваших познаниях и ученых трудах. Я послал экземпляр Надеждину, пожалуйста, чтобы он не слишком разбранил мой Альманах. Я, право, человек миролюбивый, а потому зла не делаю, да и браниться не умею».[1] Однако же, в «Телескопе» Надеждина мы не нашли никакой рецензии на издание Семенова. За то «Московский Телеграф» поместил о нем довольно обстоятельный отзыв.[2] Журнал Полевого, заметив, что альманахам прошло время и что трудно завлечь в них крупные литературные силы, а приходится выезжать на нескольких любимых именах и держаться посредственности, всё же признает «Комету Белы» заслуживающей внимания, особенно в отделе ее прозы, расхваливая очерк Сенковского «Басня в прозе»,[3] по разумеется придираясь, по обыкновению, к Погодину и Шевыреву. *Отдел поэзии* он находит в общем слабым. Внешность Альманаха хвалит.

В период цензорства (1830—1836 гг.) В. Н. Семенов вращался всего более в кругах тогдашних корифеев литературы и журналистов — не только как цензор,[4] но и как литератор с талантом и вкусом, увлекавшийся лучшими проявлениями и успехами литературного движения тех лет, начиная с гениальных творений своего Лицейского товарища Пушкина и кончая другими сколько-нибудь выдающимися явлениями в писательской деятельности представителей Пушкинского круга и школы. И сам он пробовал свои силы на этом поприще, о чем достаточно свидетельствует один довольно крупный поэтический труд его, относящийся к 1834—35 гг. К сожалению, бумаги и рукописи его не сохранились, а иначе нашлись бы среди них вероятно и другие его литературные опыты, которых он не печатал по свойственной ему скромности.

При всем своем глубоком сочувствии к литературному знамени, идеалам и личности Пушкина и его идейных приверженцев, он должен был в житейских и деловых отношениях, уже по официальной своей роли, держаться нейтральной позиции в той литературной и публицистической войне, которая так обострилась в те годы между двумя враждебными лагерями. Миролюбивый и деликатный, Вас. Ник. был склонен мирить и соединять людей, и вот почему

[1] «Погодин», Барсукова, кн. IV, стр. 24—25.

[2] «Московский Телеграф» 1833 г., кн. 49, стр. 458—462.

[3] Из которой дает даже выдержки.

[4] Насколько часто ему приходилось давать свою цензорскую подпись при дозволении к печати произведений Пушкина, видно по рукописям поэта и современным изданиям его произведений.

в свой Альманах он сумел привлечь такое количество литераторов самых различных и даже непримиримых направлений и общественных течений.[1] Но конечно все его сердечные и нравственные симпатии принадлежали Пушкину и его кругу. Характерной иллюстрацией взаимных их отношений и отношения Пушкина к своим литературным противникам является один эпизод, рассказанный Н. И. Гречем на своем вечере (четверги) в 1834 г. и увековеченный в «Воспоминаниях» В. П. Бурнашова.[2] Пока Пушкин, бывший на вечере у Греча, беседовал один с Сенковским, Греч рассказывал гостям о находчивости и острословии поэта: «Вот хоть бы на днях. Это было на новоселье Смирдина. Обед был на славу. Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Вас. Ник. Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил преловко и хохотал до упаду. Вдруг заметив, что Семенов сидит между нами, двумя журналистами, которые, правду сказать, за то, что не дают никому спуска, слывут в публике за разбойников, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе». Слова эти тотчас были всеми поняты; я хохотал, разумеется, громче всех, аплодировал и посылал летучие поцелуи Пушкину, который кричал мне: «Вы, Николай Иванович, не сердитесь?» Я отвечал ему громко: «Я был бы непростительно глуп, если бы сердился на эту милую шутку, которая нашему брату журналисту вовсе и не обидна, потому что нам то и дело, что приходится разбойничать по общим понятиям публики, т. е. лаяться, острить, отбиваться, нападать, даже хищничать. Я понимаю значение журналиста и никогда эпитетом разбойника не обижусь!», «Я старался обо всем этом говорить как можно больше, чтобы успокоить Булгарина, который пришел в совершенное нравственное расстройство и задыхался от бешенства». Рассказы Бурнашова заслуживают мало доверия; но в данном случае выходка Пушкина уж очень на него похожа, и весь эпизод, если Греч и разукрасил свою роль по своему, не заключает в себе ничего неправдоподобного и очень характерен.

[1] Шевырев, Погодин, Хомяков, Дмитриев, Глинка, Доларю, Козлов и Крылов — рядом с Гречем, Булгариным и Сенковским.

[2] «Заря» 1871 г., апрель, стр. 26. См. еще в Соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. V, стр. 475, в статье А. Г. Фомина.

III. Литературные и историографические труды В. Н. Семенова.

Деятельность В. Н. Семенова в эти годы была очень разнообразна. Она не ограничивалась цензорской службой и кабинетными, литературными и учеными трудами. Его влекло (как это видно из проекта неразрешенного энциклопедического издания) и к общественной работе, и в 1835 г. он, в сотрудничестве с П. И. Кеппеном издает «Петербургские Ведомости»: Кеппен — на немецком языке, Семенов — на русском. Бывший в это время (в начале 1835 г.) в Петербурге Погодин, подробно описавший своему доброму Московскому знакомому (Андросову) свое пребывание в столице и всё что узнал по части литературы и ученых новостей, сообщает между прочим о Кеппене и Семенове, что они издают газету с большим успехом. Тут же сообщается об упомянутом выше, тогда еще не вышедшем в свет крупном литературном труде В. Н., а именно — о переводе или переделке в стихах трагедии известного немецкого писателя Раупаха «*Земная ночь*» (у Погодина ошибочно «Летняя ночь»).[1] Можно только пожалеть, что этот большой и добросовестный труд и те несомненные литературные дарования, которые вложил В. Н. Семенов в исполнение своей задачи, — из-за не особенно удачного и благодарного выбора ее — не увенчались должным признанием и успехом и не обратили на автора того заслуженного и поощрительного для него внимания, на которые он безусловно имел право. Сам он был новичок в литературе, а автор, Раупах, недостаточно значителен и популярен в России, да и туманное название драмы ничего не говорило публике... Напечатанный к тому же, повидимому, в очень ограниченном количестве экземпляров,[2] труд Семенова не успел распространиться, остался мало замеченным серьезной критикой и не был оценен как должно ни в своих несомненно литературных достоинствах, ни со стороны сценической, заслуживавшей также внимания. Всё это вероятно настолько охладило и разочаровало В. Н., что он в сфере изящной литературы и поэзии более не выступал.

Выбор произведения плодовитого немецкого драматурга Эрнеста Раупаха (1784—1852) может быть объяснен не только тем,

[1] «Погодин», Барсукова, кн. IV, стр. 268—269. «Земная ночь», драма в 5 актах, переделанная из сочин. Раупаха В. Семеновым, С.-Пб. 1835, in-8, стр. 239. (Ценз. помета Никитенки: окт. 11, 1835 г.) вышла в свет в конце этого года.

[2] Я не нашел его экземпляра даже в библиотеке Академии Наук.

что как раз в эти годы драмы его пользовались большим успехом и популярностью в Германии, особенно на Берлинской сцене, но и тем, что имя его, как бывшего (1816—1822) профессора философии и истории в Петербургском Педагогическом Институте (уволенного в 1822 г. за вольнодумство вместе с Галичем и другими), было и у нас достаточно известно, а избранное В. Н. произведение, написанное в 1819 году в Петербурге, по словам переводчика, является одною из лучших его пьес: оно де относится к той эпохе его литературной деятельности, «когда, довольствуясь одною наградою, доставляемою поэту собственным внутренним чувством его и не увлекаясь рукоплесканиями публики, он был менее щедр на свои произведения и более обдумывал и обработывал их».[1]

Чтобы познакомить читателя с сюжетом драмы и его обработкой, мы позволим себе продолжить эту выдержку из предисловия Василия Николаевича. «Сюжет «Земной Ночи» заимствован из венецианской истории и повидимому есть не что иное, как всем известный эпизод Марино Фальеро. Сокрытие настоящего имени героя драмы под именем «Фаледро» В. Н. считает возможным объяснить одним из двух: или боязнью справедливого нарекания критики за полное искажение в своей драме исторической истины, или опасением состязания с великим поэтом Байроном, издавшим незадолго перед тем своего «Фальеро». Тем не менее, по словам Вас. Ник., как сюжет драмы, так и основная идея, в нее вложенная, делали ее для того времени одним из замечательных произведений германской сцены.

В чем же заключалась переделка, т. е. работа В. Н. при ее переводе? Русский автор оставался верен подлиннику только там, где он, по его мнению, был верен природе, устраняя всё то, что он считал странным и неестественным у Раупаха. «В ходе и сценическом расположении пьесы не сделал я — говорит он — почти никаких изменений и даже сохранил ей туманное ее название; всё же остальное, за исключением нескольких блестящих мыслей и выражений, составляющих лучшее и может быть единственное украшение труда моего и которыми я обязан подлиннику, принадлежит собственно мне. Удачно ли выполнил я намерение свое, об этом предоставляю судить просвещенным моим читателям».

Мы не можем вдаваться здесь в сколько-нибудь обстоятельную литературную оценку труда В. Н., как по исполнению его по суще-

[1] См. предисловие автора-Семенова.

ству, так и со стороны его формы и внешней отделки, для чего прежде всего пришлось бы внимательно и тщательно сличить его с подлинником, а это — вне нашей задачи. Но следует признать, что общее впечатление, производимое переделкой пьесы В. Н. Семеновым, в том и другом отношении весьма благоприятно, т. е. как в смысле развития драматического действия, выявления характеров и основной идеи пьесы, так и со стороны поэтической формы, т. е. стиля, стиха и языка ее. Она написана хорошо выдержанным белым пятистопным ямбом, тем излюбленным тогда для драм размером, к которому любил прибегать и Пушкин в своих больших драматических произведениях (напр., в «Борисе Годунове»). Мы видим в его стихах, при прекрасном для того времени, чуждом излишних архаизмов, поэтическом языке — талантливое подражание звучному и гармоничному Пушкинскому стиху. При этом русский переводчик, предполагая очевидно возможной постановку своей драмы, и заботе о ее сценическом успехе, сделал еще необходимые перемены путем не только многих сокращений, но и замены и прибавления сцен, приложенных в конце в виде вариантов. Но о сценической постановке «Земной ночи», о которой без сомнения мечтал автор, мы ничего не знаем. Думается, что в то время она может быть и не могла попасть на сцену, как заимствованная у автора, подвергшегося у нас так еще недавно преследованию со стороны правительственной власти *за вольнодумство*, хотя, разумеется, в пьесе ничего опасного не было.

К сожалению мы не знаем, как, помимо благоприятных отзывов журналистики,[1] она была встречена теми наиболее авторитетными и вместе благорасположенными судьями в тогдашнем литературном

[1] Такой отзыв (вероятно Сенковского) имеется в «Библиотеке для Чтения» 1836 г. (т. 14), Литерат. Летопись, за декабрь 1835, стр. 1—6. Критик признает, что «эта драма Раупаха заслуживает особенного внимания по своей основной мысли (вопрос, что для человека священнее: отец или отечество), взятой из глубины человеческого сердца и обставленной характерами, не чуждыми высокого драматизма...». По его мнению не следует оценивать драму с точки зрения исторического факта, а только со стороны отвлеченной идеи. Тут ставится вечный вопрос, которого человек никогда не может разрешить: он всегда становится его жертвой в этой ужасной «борьбе» сердца и обязанности, природы и закона нашей политической философии. Этим мрачным состоянием души героя драмы и следует ее объяснить название «Земной ночи». Критик отдает справедливость г. Семенову, что в общем итоге достоинств сравнение с подлинником выходит в пользу переделки и признает, что предмет пьесы передан Семеновым «прекрасными стихами»... Он дает большую из нее выдержку.

мире, кому она могла быть подпесена самим автором. Дельвига уже не было в живых; но по старым товарищеским и приятельским отношениям Вас. Пик. с Пушкиным нельзя сомневаться, что она была представлена и подарена им последнему. Странно поэтому, что ее не нашлось в числе книг, составлявших библиотеку поэта, где, однако же, имеется другой, исторический труд В. Н. Семенова. Как бы то ни было, Василию Николаевичу видимо не повезло с этим единственным его крупным чисто-литературным трудом, не использованным для сцены, но несомненно доказывающим, что автор со своим дарованием мог с успехом и пользою потрудиться и на этом поприще. Как-будто обескуражепный здесь в своих планах и надеждах, он не замедлил найти себе не менее серьезный интерес и цель, как мы сейчас увидим, уже в другой важной области.

Между тем, ему решительно не везло в его цензурной службе, которой нравственно-тяжелые, в своем роде полицейские обязанности так не соответствовали ни его взглядам, ни его слишком мягкому, добродушному и миролюбивому характеру. 1835 год принес ему новые неприятности и новые «выговоры». Никитенко под 2-м февраля, рассказав об угрожавшей ему самому неприятности по цензуре, продолжает так: «Семенов также сделал промах. В одном из последних номеров «Сына Отечества» напечатана статья о французских и английских романах, где одна святая названа представительницей слабого пола. Цензор получил от министра строгий выговор. Тем пока всё кончилось».[1] В том же 1835 году произошел другой случай, который должен был также кончиться «строжайшим выговором» В. Н. Семенову, предписанным Цензурному Комитету самим министром Уваровым, но было ли исполнено это предписание, мы не знаем, ибо из «дела»[2] этого не видно, а между тем, как выяснилось потом, тревога, поднятая — опять из-за Булгарина, — не имела достаточного основания . . . Дело в том, что в «Северной Пчеле» (№ 245) было напечатано объявление о предположенном Булгариным к изданию сочинения «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях». Как известно, это был большой труд, задуманный и исполненный историком-профессором института в Дерпте Н. А. Ивановым (1811—1869), обратившимся для издания его

[1] «Дневник», ч. I, стр. 351.

[2] См. в ценз. архиве дело 1835 г. за № 57 (№ 207843, карт. 5955).

к Булгарину, который и издал его в 1836—37 гг. в 6 томах, беззастенчиво приписав его себе (т. е.-выпустив под своим именем), упомянув лишь в предисловии об Иванове, как о сотруднике по статистической части. Таким образом, объявление в «Северной Пчеле» касалось именно этого ученого издания. Но оно страшно переполошило и возмутило министра, просвещенного С. С. Уварова, который поспешил разразиться строгим письмом в Петербургский Цензурный Комитет, — письмом, которое, как характерный исторический документ, заслуживает быть целиком здесь приведенным.

«Книга сия, по изъясненной в объявлении программе, должна касаться столь важных политических и правительственных предметов, что прежде всего представляется вопрос: может ли частное лицо входить в разсуждения о сих предметах и притом в так названной «*Ручной книге*», предназначенной для «*Русских всех сословий?* Цензор, надворный советник Семенов, рассматривавший сие объявление, обязан был сообразить, что в означенной книге будет говориться *об отношении Верховной власти к Государству, о правах Верховной Власти, об отношениях Церкви к Государству*, что обратится внимание *на политический вес Государства в ряду прочих Держав, на существующие договоры с указанием, в какой мере они благоприятствуют политическим и хозяйственным выгодам Государства* и т. д. Но излагать всё это частному человеку для Русских всех сословий не только не может дозволить цензор, но и высшее над цензурой начальство. На основании цензурного Устава гг. Цензоры обязаны в сомнительных случаях обращаться в Цензурный Комитет и испрашивать от оного разрешения. Неоднократно приказано было от меня, чтоб гг. Цензоры, при встречающихся случаях непосредственно испрашивали и от меня наставлений; не смотря на всё сие, цензор Семенов решился пропустить сам собою вышеназванное объявление.

«Я предлагаю заступающему ныне место Председателя в здешнем Цензурном Комитете сделать от имени моего цензору Семенову за пропуск сего неприличного объявления и за несоблюдение данных наставлений строжайший выговор с подтверждением, чтобы впредь был осторожнее и внимательнее к служебным обязанностям под опасением полной по закону ответственности.

Министр Народного Просвещения Сергий Уваров».[1]

[1] См. указанное выше архивное дело.

Как уже сказано, сочинение Н. А. Иванова, очень серьезное и высоко оцененное авторитетными учеными, но которому в глазах неосведомленной публики имя мнимого автора — Булгарина только повредило, беспрепятственно вышло в свет в 1836—37 годах. В. П. по всей вероятности избавился от кары, но эти слишком часто повторявшиеся напасти[1] с каждым разом увеличивали постепенно накоплявшееся разочарование и недовольство Вас. Ник. своей цензорской службой, заставившее его в конце концов с ней расстаться.

Мы уже сказали, что В. Н. Семенова стала в эту пору сильно привлекать другая, впрочем и прежде интересовавшая его область. Это была русская историография. Интерес к ней связан у него был, повидимому, с началом его сближения с М. П. Погодиным, а через него и с некоторыми другими выдающимися представителями русских исторических изучений в Петербурге, — между прочим с известными академиками, напр., с П. И. Кеппеном, его сотоварищем, т. е. соиздателем «Петербургских Ведомостей», Аделунгом, Френом, Д. И. Языковым, Кругом и друг. Уже одно это сближение, особенно с Погодиным, а также собственное увлечение и большая начитанность В. П. по исторической части возбудили в нем сильное желание по мере сил потрудиться на пользу русской историографии, и он решил воспользоваться представившимся ему в этот момент случаем и обстоятельствами. Этими обстоятельствами было возникшее еще в 1835 году, нам неизвестно по чьему совету или внушению, большое частное учено-литературное предприятие — издание целого собрания старинных сочинений иностранных писателей о России, взятое на себя, если не задуманное, неким М. Колистратовым, о котором мы, к сожалению, никаких биографических данных не имеем, и привлечение им к этому делу, в качестве редактора, Вас. Ник. Семенова. Об их взаимных отношениях мы также ничего не знаем, но выбор издателя обусловлен был конечно особым его доверием к В. Н. Издание предпринято было в большом масштабе: долженствовавшее включить в себе иностранных писателей XV, XVI и XVII веков, оно было рассчитано на много лет и на большое количество томов: I-ое отделение должно было состоять из 12 томов и заключать до 300 печатных листов.

Программа появилась уже в сентябре 1835 г., и в ней уже находится имя В. Н. Семенова, как лица, взявшего на себя, по

[1] Несомненно далеко не о всех дошли до нас сведения.

просьбе издателя, редакцию этой «*Библиотеки иностранных писателей о России*». Первый том этого несомненно высокополезного и много обещавшего издания должен был выйти в январе 1836 г., но вышел только осенью этого года и был встречен с живым интересом и горячим сочувствием не только литературным и ученым миром, но и более широким кругом читателей. Однакож соответствовал-ли этот, так сказать, идейный успех издания материальным расчетам и видам издателя — это другой вопрос, и в этом приходится усумниться, ибо чем иным объяснить то, что это благое предприятие, подобно многим нашим такого же рода большим учено-литературным начинаниям того времени (хотя бы напр. энциклопедиям), не выдержало материальных трудностей и, к большому сожалению истинных друзей науки и просвещения, остановилось на I томе? Во всяком случае редактор вложил в него всё свое рвение, все свои силы и знания, и конечно не его была вина, что дело оборвалось, так как издатель мог всегда, если бы не поладил с одним редактором, или если-б последний сам отказался продолжать работу, приискать для следующих томов другое лицо. Поэтому надо думать, что самая подписка на издание, может быть даже успешная в кругу ученых и литераторов, но слабая в кругах более широкой публики, в большинстве, особенно в те времена, мало отзывчивой на предложение такого серьезного чтения, не оправдала ожиданий и не могла покрыть затраченных сумм и предстоящих крупных издержек. Таким образом дело рушилось само собой.

Однако-ж вышедший I том «Библиотеки»,[1] представляющий почти всецело труд В. Н. Семенова, является всё же солидным и ценным вкладом в литературу изданий наших исторических источников, следовательно — в науку русской историографии, — вкладом, закрепившим за В. Н. хоть и скромное, но всё же прочное имя в истории этой науки. А труд, вложенный им в это издание, на много превышал то, что он должен был взять на себя по условию с издателем. В. Н. сам говорит об этом в своем обращении «к читателям» — и мы приведем здесь его собственные слова. Этим осложнением работы он оправдывает и запоздание выхода в свет книги.

[1] Полное заглавие книги: «*Библиотека иностранных писателей о России.* Отделение первое, том I. Предисловием М. Колистратова, трудами В. Семенова. I. Барбаро, А. Контарини. А. Кампензе, II. Новый». С.-Пб., в типогр. III Отд. Собств. е. и. в. Канцелярии, 1836 г.

«Приняв на себя — говорит он — по просьбе почтенного издателя, редакцию «Библиотеки», я хотя и чувствовал важность предстоявших мне обязанностей, но со всем тем никак не мог предвидеть всей обширности труда, с ними сопряженного. По первоначальному условию обязанность моя заключалась единственно в систематическом расположении писателей, в пересмотре переводов и сличении их с подлинниками и наконец в самом механизме издания». Для этого хватало бы предположенного срока, но непредвиденные обстоятельства не оправдали расчета. В. Н. пришлось самому перевести (с итальянского, которым он хорошо владел) трех из 4-х вошедших в I том писателей — по неудовлетворительности доставленных ему переводов, и затем на него же было возложено составление всех исторических примечаний, требовавших множества предварительных занятий и исследований. Наконец, согласно желанию многих ученых (из подписчиков), решено было к переводам приложить и самые их подлинники.

Вот, следовательно, какую большую и серьезную задачу принял на себя В. Н. Само собою разумеется, что результаты его трудов не могли претендовать на то совершенство и ту научную высоту, каких можно было бы ожидать от ученого специалиста. Возможно было даже критически и скептически отнестись к самому принятию им на себя такого важного и ответственного труда, требовавшего специальной подготовки и опытности, как многие (из ученых особенно) вероятно и отнеслись тогда к тому. Автор очень благосклонного и обстоятельного критического отзыва о I томе «Библиотеки» в «Библиотеке для Чтения»[1] заметил между прочим: «Признаемся, что имя г. Семенова мы увидели (на издании) с некоторым удивлением, потому что не знали никаких прежних трудов его, подобных этому, но это не мешает нам отдать полную справедливость его рачительности и уменью». Надо однакож принять в соображение, что такой сложный и ответственный труд выпал на долю В. Н. вполне для него неожиданно, как мы выше видели, тогда, когда он уже вполне вошел в свои собственно *редакторские* обязанности, и он всё-же решил не уклониться от доставшейся ему, чрезвычайно заинтересовавшей его задачи. Сам он, сознавая всю ее серьезность и значительность, не скрывал своих опасений и сомнений в силах своих. Он откровенно высказал это в своем предисловии, и нельзя не привести здесь этого характерного для

[1] См. этот журнал за 1836 г., т. XIX, Критика, стр. 42.

него выражения скромного о себе и своем труде мнения: «Поприще историческое совершенно для меня ново. Выступая на него с творением, важным по цели своей, я не столько страшусь строгого суда критики, всегда благосклонной к труду ученому, сколько справедливого укора в том, если не удовлетворив вполне ожидания читателей, я тем самым нанесу существенный вред предприятию, которое в руках литератора более опытного могло бы принесть и более пользы. Это откровенное сознание не может конечно служить извинением несовершенству моего труда, но по крайней мере читатели удостоверятся из него, что самолюбие, свойственное более или менее каждому писателю, весьма мало участвовало в настоящих занятиях моих и что польза издания была главнейшею, или лучше сказать, единственною целью всех моих усилий».

Главный труд Семенова заключался, кроме самого перевода писателей, в составлении исторических к ним примечаний, способных удовлетворить всех читателей. Он оговаривается, что многие из них «имели в виду юношество, чтобы облегчить ему трудность собственных изысканий, а потому читателям взрослым и ученым они могут показаться ребяческими и даже вовсе ненужными».

В кругу ученых этот труд встретил большое сочувствие при самом начале своем, и величайшей поддержкою Семенову было просвещенное содействие таких ученых авторитетов, какими были названные им тут-же Ф. П. Аделунг, Д. И. Языков, Х. Д. Френ, П. И. Кеппен и А. В. Терещенко. Литературная и ученая критика встретила также очень благосклонно и одобрительно I том «Библиотеки». Мы уже упомянули об одном отзыве. Автор его, радуясь началу такого полезного предприятия и ожидаемому его успеху, сознается, что, читая программу «Библиотеки», он опасался, что задуманный труд так огромен, что издателям трудно будет его осилить, так как он по опыту знает, как тяжела такая работа.[1] «Тем приятнее, продолжает он, сказать теперь, что первый том, начало труда г. Семенова, вполне удовлетворил, даже превзошел наше ожидание. Поздравляем издателя и редактора с победой, а русскую публику с превосходной книгой». Мы можем себе представить, как горячо приветствовал этот труд своего приятеля М. П. Погодин, но к сожалению известия об этом случайно не достает

[1] Полагаем, что это был Сенковский. Критик относит это издание «к числу истинно полезных и благонамеренных предприятий, какими только в разное время ознаменовалось усердие частных людей к отечественной истории».

в труде Барсукова. Книга эта, конечно, была подпесена автором своему Лицейскому товарищу А. С. Пушкину, очевидно незадолго до его трагической кончины, вероятно в ноябре 1836 г., и он не оставил ее без внимания: она сохранилась в его библиотеке разрезанною в нескольких местах.[1] Понятно, что такое ученое издание, как «Библиотека» Семенова, не могла не вызвать и специальной научной оценки, поводом к которой послужило то, что успех издания и вероятно советы друзей и доброжелателей В. Н. побудили его представить свой труд в Академию Наук на конкурс для соискания «Демидовской» награды. Академия поручила рецензию книги ученому специалисту, известному академику Ф. И. Кругу, и в результате в академическом издании, в «Актах» и особой книжкой явился целый ученый трактат о ней «Bericht des Akademikers Krug über die «Библиотека иностранных писателей о России». Отд. I, том. I,[2] в котором мы имеем уже самый компетентный, очень строгий и объективный разбор этого издания. Свою даже несколько придирчивую строгость критик оправдывает тем, что он имеет в виду продолжение этого важного издания и желал бы своими замечаниями и советами предостеречь редактора от повторения некоторых недочетов и погрешностей.

Академик Круг, сделав ряд общих критических замечаний, остановился подробнее на одном из четырех отделов книги; разобрав труд Вас. Ник в разных отношениях (т. е. воспроизведения текста, перевода и примечаний), он нашел в нем разные промахи и недочеты и снабдил текст еще собственными комментариями и дополнительными расследованиями. На основании этого частичного разбора он пришел к общему выводу, что немало промахов имеется и в самом издании текста писателей и в переводе, объяснимых или поспешностью работы или недостатком научной осведомленности. То же касается и объяснений и примечаний, заставляющих желать многого в смысле выбора и критики. Однако ж, Круг тут же оговаривается, что «он вовсе не думает своею критикой умалять заслугу редактора, а лишь желает обратить его внимание на то, что требуется для усовершенствования издания. Поэтому, не взирая на свой строгий суд, он считает справедливым — в виду исключительности подобных явлений в русской литературе — увенчать этот

[1] Б. Л. Модзалевский, «Библиотека Пушкина» — «Пушкин и его современники», вып. IX—X (1910), стр. 11.

[2] Разбор этот имеет дату 31 марта 1837. В книжке 67 стр.: 165—232.

труд Демидовской премией в 2500 рублей, дабы поощрить как самого редактора к продолжению его благих усилий, так и других способных молодых ученых к занятиям в области русской истории и древностей».[1] Понятно, что удостоение такой почетной награды должно было стать большим удовлетворением для Вас. Ник.

Но мы в рассказе своем забежали вперед: всё это, т. е. выступление В. Н. со своим трудом и оценка его уже относятся к концу 1836 и началу 1837 г. А между тем, уже в первые месяцы 1836 в его деятельности и служебном положении произошла существенная перемена. Мы уже видели, насколько цензорская его служба была ему не по душе и не по характеру и как она тяготила его. Видимо он уже не дорожил ею, и потому не удивительно, что он воспользовался представившемся случаем от нее освободиться. Таким случаем явился новый неприятный цензорский инцидент из-за ссоры двух издателей и двух журналистов. Но «козлом отпущения» в этой истории оказался повидимому только цензор, пропустивший в «Северной Пчеле» письмо издателя «Энциклопедического Лексикона» Плюшара, направленное против Смирдина, т. е. — Вас. Ник. Семенов. По крайней мере так рассказывает это дело Никитенко в своем «Дневнике». По его словам уход Вас. Ник. в отставку был вынужденный. Но скорее это было лишь поводом для такого решения, последней каплей, переполнившей чашу его терпения. В «Дневнике» Никитенки от 3-го марта автор рассказывает о своей встрече с В. Н. на балу у Д. М. Княжевича, при чем мимоходом отмечает одну его характерную черточку — большую экспансивность и говорливость рядом с таким же свойством другого бывшего тут гостя, литератора-академика М. Е. Лобанова, делая однако между ними существенную разницу в том, что В. Н. — «добродушный говорун и никого не оскорбляет, а Лобанов — совсем другого закала человек». «Это, что называется, академик парик и плохой поэт. Старая литература для него святыня, новая — ересь и сплошь мерзость». В этой записи Никитенка об уходе Вас. Ник. из цензоров еще нет ни слова. А через неделю, под 10 марта, читаем: «Плюшар напечатал в «Северной Пчеле» письмо с обвинением Смирдина в том, что тот неисправно доставляет подписчикам 3-й и 4-й томы «Энциклопедического Лексикона»: по уговору он должен их рассылать. Смирдин,

[1] См. «Шестое присуждение наград Демидова», С.-Пб. 1837 г., стр. 30—33 (Общий отчет).

в свое оправдание, представил Цензурному Комитету расписку Плюшара, из которой видно, что эти томы им самим получены лишь в то время, когда, по словам Плюшара, они должны были бы уже находиться в руках подписчиков. Так как Плюшар такою ложью очевидно намеревался подорвать торговый кредит Смирдина, последний подал на первого жалобу генерал-губернатору. Но кто главный виновник этой интриги? — Греч. Он поссорился с Сенковским и подбил Плюшара напечатать вышеупомянутое письмо. Цензор Семенов должен от этого выйти в отставку».[1] Вероятно Вас. Ник. мог бы найти защиту, если-бы хотел. Но он предпочел сбросить с себя опостылевшее ему служебное ярмо, и уже 21 марта подал прошение Попечителю об увольнении его от цензорской должности — по плохому состоянию здоровья — и о причислении его к Министерству Народного Просвещения, выражая готовность служить ревностно и впредь и надежду, что его 11-летняя служба будет вознаграждена как-нибудь взамен недослуженной (на 2 года) пенсии по цензурному ведомству.

11-го апреля Семенов, по прошению, был уволен от цензорской службы с причислением к Министерству. Всё это время он был поглощен своей большой редакторской и ученой работой над I томом «Библиотеки иностранных писателей о России», который вышел в свет в сентябре 1836 г. Не может быть сомнения, что и этот серьезный труд в привлекавшей его историографической области играл не малую роль в его решении окончательно порвать с цензорством.

К осени этого года относятся некоторые любопытные факты из частной жизни Вас. Ник., бросающие свет на его личность, его популярность в кругу близкой ему по духу Петербургской литературной братии, а также на его близкие, приятельские отношения с Пушкиным, который волею неумолимого рока доживал тогда последние месяцы так жестоко пресеченной своей жизни. Эти известия почерпаются из воспоминаний племянника и племянницы В. Н. — П. П. Семенова-Тян-Шанского и сестры его И. П. Грот, матери моей.

Старший брат последних, 13-летний Ник. Петр. Семенов,[2] был отдан осенью 1836 г. в Царскосельский Лицей. По этому случаю

[1] «Дневник» (изд. 1893), т. I, стр. 367—368.

[2] Будущий сенатор, историк-летописец крестьянской реформы, поэт-переводчик Мицкевича, род. 1823, ум. 1904 г.

их мать (вдова Петра Николаевича, умершего в 1832 г.) с младшим сыном и дочерью переселялась из Рязанского своего поместья в Петербург. Добрый Вас. Ник. уступил семье своего старшего брата свою отлично меблированную квартиру на Васильевском Острове, в 1 линии, в доме барона Кусова, потом Сазонова,[1] а сам переехал жить к своему тестю Уварову. Его племянница Наталья Петровна (будущая Грот), которой шел уже 13-й год, вспоминает в своей «Семейной хронике» об этом времени: «В эту зиму (1836—37 г.) мы часто бывали у дяди В. Н. или, вернее, у тестя и тещи его Уваровых. Эти посещения нас всегда радовали, так как и дядя, и добрая семья Уваровых очень ласкали нас. Но всего памятнее для меня был обед, данный дядею Пушкину, как Лицейскому товарищу своему, и некоторым знакомым литераторам и на который он позвал и нас. Это был единственный раз в жизни, что я видела Пушкина. Его курчавые волосы, живая речь и веселый смех очень сильно запечатлелись в моей памяти, тем более, что вскоре после того все оплакивали его безвременную кончину. Маменька сядила поклониться его праху, но нас за теснотою не взяла».[2] Более подробный рассказ об этом обеде у В. Н. Семенова и в частности о Пушкине имеется в «Мемуарах» племянника последнего (брата Натальи Петровны) Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского,[3] которому шел тогда 10-й год, но который для своих лет был очень развит и до конца дней сохранил замечательную память. По его словам, «этот обед был дан Вас. Ник. в ответ на обед, ему данный по случаю оставления им должности цензора Петербургскими литераторами, очень его любившими». В. Н. оставил службу уже в апреле, но чествование его, очевидно, тогда не могло состояться и было отложено до осени. Это уже свидетельствует о симпатиях и уважении, какими он пользовался в литературном кругу. «На этом ответном обеде, продолжает П. П., самым дорогим гостем дяди был очень ценивший его товарищ А. С. Пушкин, а из их приятелей я запомнил еще Кукольника и художника Карла Брюллова.[4] Дядя мой Вас. Ник., отличавшийся своей добротою и сердечностью, зная, что моя мать

[1] В том же доме жила после семья Гротов 37 лет — с 1853 по 1890 г.

[2] «Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков Натальи Грот», С.-Пб. 1900.

[3] Т. I. Детство и юность. 1827—35. Петроград. 1917.

[4] Сохранился рисунок (карандаш) портрет-шарж В. Н., работы Брюллова. Он передан ныне А. П. Семеновым-Тян-Шанским, получившим его из какого-то Московского собрания, в музей Пушкинского Дома.

была восторженной поклонницею Пушкина, а мы с Наташей знали наизусть лучшие его стихотворения, и что для нас присутствие в доме Уваровых, где происходил обед, будет светлою минутою в жизни, пригласил к себе в этот день и всю нашу семью... За обеденным столом были, конечно, только взрослые мужчины и дамы; дети же обедали особо, но 12-тилетнюю Наташу посадили подле матери, а я видел Пушкина только в гостиной перед обедом. Сестра рассказывала мне, что Пушкин был очень весел и говорил со свойственным ему блестящим остроумием. Пушкин оставался еще долго за обеденным столом со своими приятелями по окончании обеда и после ухода дам. После этого памятного для меня дня я только один раз видел Пушкина. Идя со мной по Морской в декабре того же 1836 года, дядя Вас. Ник. встретил Пушкина, который обменялся с ним несколькими словами. А через месяц уже разнеслась по всему городу страшная весть о том, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Дядя многократно справлялся о его здоровьи, и в один из этих дней заехал к нам с роковою вестью: Пушкина не стало...».[1]

Последняя, отмеченная здесь встреча Вас. Ник. с Пушкиным упоминается повидимому в рассказе, переданном В. И. М-чем проф. Алексею Ивановичу Маркевичу и помещенном в его «Пушкинских заметках» в издании «Пушкин и его современники».[2] Но в нем может быть ошибочно вместо Петра Петровича Семенова назван Николай Петрович Семенов. Впрочем, П. П. в своем вышеприведенном сообщении не упоминает о характерном эпизоде, сопровождавшем эту встречу. Поэтому не исключена возможность, что упомянутый рассказ был передан не им, а именно старшим братом П. П., Николаем Петровичем, тогда лицеистом, часто навещавшим своего дядю, и что описанный в нем случай произошел на его глазах во время его прогулки с Вас. Ник. Не важно, впрочем, кто именно из братьев был свидетелем эпизода, являющегося во всяком случае характерным и ярко иллюстрирующим популярность поэта в Петербурге. Вот этот рассказ дословно: «Приехав молодым в Петербург, Семенов с кем-то из своих родственников (т. е. с Вас. Ник.) шел по улице, и вдруг услышал вдали шум. Показалась толпа народа (публики). Родственник Семенова предупредил его, что они сейчас встретят государя Николая Павловича; но оказалось, что толпа сопровождала Пушкина, которому при этом кричала: «Браво,

[1] Мемуары, т. I, стр. 111.

[2] Выпуск III, С.-Пб. 1905, стр. 105 и вып. IV, стр. 196.

Пушкин», аплодировала и т. п. Родственник Семенова был знаком с Пушкиным и, встретившись, вступил с ним в разговор, что и дало возможность Семенову близко видеть Пушкина».

IV. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД СЛУЖБЫ И ЖИЗНИ В. Н. СЕМЕНОВА (1837—1863 г.).

Мы уже видели, что в начале 1837 г. труд Вас. Ник. Семенова («Библиотека иностранных писателей о России») был увенчан Демидовской премией. Но этот труд был, сколько нам известно, и последним, по крайней мере печатным литературным его выступлением. Он еще продолжал после того некоторое время заниматься русской историографией, о чем имеются свидетельства, но во всяком случае наиболее интересующий нас и имевший свое общественное значение *литературный* период службы (т. е. цензорства) и деятельности Вас. Ник. Семенова заканчивается с началом 1840-х годов, с переменой его служебного поприща, получающего теперь частью административный, а главным образом (с конца 40-х годов) и учебно-административный характер. Нам остается сообщить несколько известий о нем, случайно дошедших из последнего периода 30-х годов, и для полноты нашего биографического очерка вкратце передать главные факты последнего 20-летия его жизни.

Причисленный к Министерству Народного Просвещения, Вас. Ник. повидимому года два или более оставался без определенной службы. Издание «Библиотеки иностранных писателей о России», как мы знаем, не продолжалось, но о не оставлявшем Вас. Ник. влечении к историографическим занятиям и к археографии свидетельствуют его живые сношения в эти годы с М. П. Погодиным, его архивные изыскания в родной ему Рязанской губернии и избрание его в 1839 или 1840 г., по предложению Погодина, в члены Московского Общества Истории и Древностей Российских. Биограф М. П. Погодина рассказывает об этом на основании бумаг и переписки последнего: «Давняя приязнь соединяла Погодина с В. Н. Семеновым... Приязнь эту не поколебало и то обстоятельство, что в 1831 г. Семенов был строгим цензором трагедии *Петр I*. Сделавшись секретарем Общества Истории и Древностей Российских, Погодин предложил Семенова в члены Общества. Известие об этом избрании застало Семенова в его родной Рязанской губернии, в которой он производил археографическую экскурсию. «Здесь, писал он Погодину, нашел для себя интересное занятие, — именно в рас-

смотрении зделнних губернского и консисторского архивов. Рассмотрение первого я кончил; но в свитках не нашел ничего замечательного. Это дела частные, уголовные, времен дома Романовых от Михаила до Петра, любопытны только в отношении юридическом. Большая часть из них относится до покражи лошадей. Свитки довольно плохо сохранились, так что многие совершенно распадаются. Когда же спадет несколько половодье, то отправлюсь в монастыри: Богословский, Солодчинский и Ольгов, а потом пущусь в старую Рязань, Каспмов и Пронск. Может быть в течение всех этих разысканий удастся мне открыть что либо исторически интересное и полезное».[1]

К сожалению, нет у нас сведений о дальнейших изысканиях Вас. Ник. и об их результатах. Не видно также, к какому в точности времени относится приведенное здесь письмо, — несомненно только, что к последним 30-м годам: может быть к 1838-му или 1839-му. Как бы то ни было, с начала 1840 годов Вас. Ник. был увлечен обстоятельствами и стремлением к более живой и вместе активной службе в той же просветительной сфере, но на новом поприще (учебно-административном) и притом в совершенно новый край и новую обстановку. Но этого удалось достигнуть ему не сразу. Перед тем в его карьере оказывается опять неожиданный кратковременный уклон в сторону — подобный тому, который мы отметили в 1829—30 гг. Мы точно не знаем, чем он был вызван и с чьим содействием устроен, но очень возможно, что полученное им, по-видимому в 1840 г., назначение вице-губернатором в Орел, где он пробыл не долее как до половины 1842 г., должно было послужить ему необходимым этапом, служебной ступенью для следующей, более важной деятельности, его привлекавшей. Никаких данных о его краткой службе в Орле у нас нет, но уже в 1842 г. он переводится на Кавказ и получает пост члена Совета Главного Управления Закавказским краем при главноуправляющем Закавказским краем, ген. Нейдгардте. С Кавказом Вас. Ник. довольно близко познакомился еще в 1820-х гг., когда провел там почти целый год (с конца 1827 до конца 1828 г.) в отпуску в первый период своей цензурной службы — по расстроенному здоровью, и Кавказ видимо привлекал его. Переведенный туда, он прослужил и проработал там целых 10 лет, посвятив культурным интересам Закавказского края, главным образом учебному делу, самую лучшую, кипучую и слу-

[1] Н. Барсуков, «Жизнь и труды Погодина», кн. V, С.-Пб. 1892, стр. 73—74.

жебно-плодотворную пору своей жизни. Начав службу в Министерстве Народного Просвещения и в Комитете устройства учебных заведений, хорошо знакомый с учебным вопросом, имея репутацию очень просвещенного человека и литератора, он был, разумеется, использован в полной мере на новом своем посту по делу переустройства учебной части на Кавказе. Уваровская реформа 1833 г. с организацией учебных округов до того еще не коснулась Закавказья, где учебные заведения остались в ведении Главноуправляющего краем. Однако, уже в начале 1842 года для управления учебною частью в Закавказье было учреждена должность главного инспектора закавказских училищ, впрочем в конце того же года упраздненная с возложением управления последними на одного из военных членов Совета Главного Управления. Как раз в это время В. Н. был назначен членом этого Совета. Вскоре после того ему пришлось принять очевидно наиболее деятельное участие в составлении особого положения о Закавказском учебному округе, порученном Наместнику (с 1844 г. графу и затем князю М. С. Воронцову), и еще до издания этого Положения в 1847 году Вас. Ник. был назначен управляющим учебною частью в Закавказском крае. Новое «Положение», выработанное Наместником, было затем рассмотрено Кавказским Комитетом и издано в декабре 1848 г., а В. Н. вместе с тем назначен Попечителем Закавказского Учебного Округа с оставлением членом Совета Главного Управления».[1]

До 1851 г. служба Вас. Ник. на посту Попечителя шла повидимому гладко, но уже осенью 1851 года начались у него с Наместником Воронцовым какие-то нелады и трения; мы, к сожалению, не знаем, в чем они состояли и чем был недоволен Воронцов.[2] Слухи об этом дошли до Петербурга, и на сообщение о том П. А. Плетнева своему другу Я. К. Гроту, как мужу родной племянницы В. Н., Грот в письме от 8 сентября — отзывается так: «Слухи о Вас. Н. доходили и до нас: они в основании своем справедливы, но действительно ли служба его вследствие этого подвергнется какому-либо изменению, еще сомнительно. Сам он никогда ни к кому из родных не пишет, а потому ничего достоверного мы не знаем. Говорят, что он умел остаться в хороших отноше-

[1] В том же году Вас. Ник., по вниманию к 28 летней беспорочной и усердной службе и из них более 3 лет в Закавказье с пользою для края, была дана ссуда в 12 тысяч р. на 12 лет (впоследствии еще отсроченная).

[2] Не думаем, чтобы они могли быть чем-нибудь вызваны со стороны миролюбивого, мягкого и деликатного Вас. Ник. Тут могла быть и интрига.

ними с Воронцовым . . .».[1] Однако же недоразумения или разногласия между ними были всё же настолько серьезны, что В. Н. был вынужден уже в начале 1852 г. оставить попечительство, и на его место назначен был барон Николаи, в сравнении с ним почти юноша.[2]

Таким образом в феврале 1852 г. Вас. Ник., «по совершенно расстроенному здоровью», был уволен от службы с пенсией в $2^1/_2$ тысячи руб. и вслед затем вернулся в Петербург. Здесь уместно упомянуть об одном факте, рассказанном в «Воспоминаниях» декабриста Гангеблова и характеризующем доброе, памятливое сердце Вас. Ник. Говоря о своих дружеских непрекращавшихся отношениях и переписке с Мих. Ник. Семеновым, Гангеблов прибавляет: «А вот еще знак привязи ко мне Семеновых: из них Василий Николаевич, возвращаясь с женой в Петербург из Грузии, где он служил, сделал большой объезд на Верхнеднепровск, чтобы со мной видеться, но не застал меня дома (Гангеблов жил в своей деревне): я был в это время на Кавказских водах».[3]

Около двух лет В. Н. провел в отставке. Значительно пошатнувшееся здоровье его требовало отдыха и восстановления сил. И физические силы его, и возраст заставляли его искать более спокойной и менее утомительной и напряженной службы и деятельности, и тут пришел ему на помощь его старый товарищ, приятель и родственник, двоюродный брат его жены, уже занимавший тогда высокий пост начальника Главного штаба по учебной части, Яков Иванович Ростовцов. При Штабе состояло возглавляемое им Главное Управление военно-учебными заведениями и при нем Учебный Комитет, членом которого в 1834 г. и был назначен Вас. Ник. В этой должности он оставался все последние годы своей жизни до самой кончины, последовавшей в 1863 г. в Женеве, куда он поехал для поправления расстроенного здоровья.

В. Н., как один из ближайших по родству и товариществу к Я. И. Ростовцову лиц, мог близко следить за ходом всей огромной и напряженной работы и деятельности последнего по крестьянской реформе с самого начала ее разработки до его безвременной кончины в начале 1860 го года. Он был непосредственным свидетелем как всей тяжелой болезни Ростовцова с осени 1859 г. (внутренний воспалительный процесс и карбункул в боку), так и последних его дней и минут, находясь почти неотходно в его доме.[1] Рассказ о кончине Я. И. (в феврале 1860) записан был со слов В. Н. Семенова, который передал между прочим один из последних своих разговоров с Я. И. по поводу известной предсмертной его записки для Александра II о заключениях Редакционных Комиссий по крестьянскому делу и о своих заветных мыслях о них. Накануне своей смерти, когда записка его была готова к подписи, Я. И. пожелал, чтобы она была прочтена его близким. Когда затем вошел к нему В. Н. Семенов, он спросил его: «Читал-ли ты записку и как ты ее находишь»? Вас. Ник.: «Вполне ясною и успокоительною». Я. И. спросил: «Так она никого не испугает?» «Напротив того, успокоит тех, которые прежде боялись». «Да чего они боялись?» «Разумеется, потерп своих интересов, а из этой записки видно, что интересы их были в остаются в виду у правительства». «Так по твоему убеждению записка произведет хорошее впечатление?». В. Н. успокоил больного словами: «Да, я в этом уверен». Тогда Я. И. сказал: «Спасибо тебе, мой друг, бог тебя благословит, прощай, я хочу уснуть . . .» В тот же день к вечеру, когда больной был в забытьи и временно бредил, Вас. Ник., сидевший у изголовья постели его, слышал как он бредил о каком-то «ужасном заседании» и в этом бреду явственно произнес несколько раз слова: «Государь, не бойтесь!».[2]

В. Н. Семенов, как сказано, прожил еще года два с небольшим, следовательно немногим пережил своего друга. Ему суждено было дожить до счастливого момента обнародования того исторического акта освобождения крестьян (в феврале 1861 г.), в подготовке и выработке которого почивший друг его принял такое первенствующее, горячее и беззаветно-самоотверженно участие и осуществления которого они вместе так нетерпеливо ожидали.

К. Грот.

---

[1] «Переписка К. К. Грота с Н. А. Плетневым», т. III, стр. 533—535.

[2] К. К. Грот в той-же Переписке по этому поводу говорит, что В. Н. вероятно скоро сумеет иначе устроиться и появиться в новом блеске на каком-либо другом поприще. «Выходит, прибавляет он, что он составил Положение и Штат своего места для мальчика, который ровно 20 годами позже него вышел из „Лицея“». Там же, стр. 372.

[3] «Русск. Архив» 1886 г., т. IV, I. с.

[1] Болезнь и кончина Я. И. Ростовцова подробно описаны племянником В. Н., летописцем крестьянской реформы Н. П. Семеновым (сенатором) в статье «в Русск. Вести.» (1866 г., стр. 723—73.

[2] Там же, стр. 740—41. См. также в Мемуарах П. П. Семенова: «Эпоха освобождения крестьян», т. III, стр. 424—29. Также «Жизнь и труды Погодина», кн. IV, стр. 161—162.

ВОСПОМИНАНИЯ Н. М. ЕРОПКИНОЙ ОБ И. А. КРЫЛОВЕ.[1]

«И. А. Крылов был старинным знакомым твоего дедушки. Не знаю, как это случилось, но в молодости Александр Михайлович Тургенев помог Крылову определиться учителем в семью кн. Голицына. Крылов до получения этого места бедствовал, и оказанная протекция явилась своего рода благодеянием, так как дала ему возможность развить свой талант. Вероятно поэтому Крылов, обращаясь к дедушке, говорил иногда: «Благодетель мой Александр Михайлович».

В свою очередь Крылов оказывал дедушке покровительство в Публичной Библиотеке, где служил и куда А. М. Тургенев частенько заглядывал.

Дружбы особой между ними не было, — они были скорее хорошие знакомые. Крылов хаживал к нам редко, но всегда к обеду и по приглашению. Я знала его уже стариком и не могу сказать, чтобы вид его был очень привлекателен. Одежда была всегда помятая и не особенно опрятная — в пятнах, лицо обрюзглое. Вся фигура походила на тушу, и я с трепетом смотрела всегда на кресло, когда грузно валился он в него. Но в глазах Крылова светился юмор и загорались они насмешливым огоньком, когда он спорил или читал свои басни. Вероятно в молодости был он много живее и интереснее.

Появление его у нас происходило так: Александр Михайлович обыкновенно деловито заявлял: «Был у меня сегодня Крылов и, уходя, без обиняков напомнил: «А знаете, А. М., ведь в этом году я у вас еще не обедал...». Отсюда логический вывод — следует пригласить, — что я и сделал на такое-то число».

Начинались хлопоты. А. М. был большой хлебосол, и у него была отличная кухарка Александра Егоровна, которая жила у него 45 лет; часто обедали у нас и без приглашения, но накормить Крылова всласть, — а дедушка иначе не допускал, — вызывало много забот.

Во-первых, нужно было пригласить подходящую компанию; во-вторых, готовить обед в тройном или четверном количестве. Аппетит у Крылова был чудовищный, болезненный. Меню составлялось из самых тяжелых, сытных кушаний. Обедали тогда рано — в 5 часов. Крылов аккуратно появлялся в половине пятого. Перед обедом он непременно прочитывал две или три басни. Выходило у него прелестно. Особенно удавалась ему лиса, которая напевала на особый лад. Вообще все звери говорили иначе, и выходило очень забавно. Только мораль читал И. А. своим голосом. Лучше всего выходила у него «Демьянова Уха».

Приняв расточаемые со всех сторон похвалы, как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло — и всё внимание его было обращено теперь на дверь в столовую. Если обед запаздывал, он осторожно заглядывал в свой великолепный брегет, — подарок царя или царицы, не помню, — а иногда доносился и звон часов. Александр Михайлович улыбался и нам подмигивал. Но вот наступала торжественная минута: лакомая дверь растворялась и раздавался голос Емельяна: «Обед подан».

Иван Андреевич быстро поднимался с легкостью, которой и ожидать от него нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе. Скрепя сердце, пропустив вперед дам, он первый следовал за ними и направлялся к своему месту. Он всегда сидел по правую руку от меня, а я помещалась, как хозяйка, против Александра Михайловича. За стулом Крылова уже стоял Емельян.

Емеля, — Емельянушка, — Емельян был киргиз-сирота, которого дедушка окрестил и вывез из Астраханской губернии, где был одно время губернатором. Емеля было его будничное имя; Емельянушкой называли его, когда были им довольны. «Иди спать, Емельянушка», — говорил ему по вечерам дедушка, — «мне ничего больше не надо». В случае же недовольства или если поручали ему какое-нибудь серьезное дело, звали его Емельяном. Так и на

[1] Воспоминания эти записаны А. С. Сомовым в 1880 году со слов Н. М. Еропкиной, воспитательницы его матери, О. А. Сомовой, рожд. Тургеневой, — дочери автора известных «Воспоминаний» и предмета увлечения И. С. Тургенева. *Ред.*

этот раз Александр Михайлович обратился к нему пред обедом: «Смотри, Емельян, чтобы Иван Андреевич у меня голодным из-за стола не вышел . . .».

И вот Емеля бережно подвязывает Крылову салфетку под самый подбородок, а вторую расстилает на колени.

Я отлично помню этот последний обед Крылову. Была уха с растегаями, которыми обносили всех, но перед И. А. стояла глубокая тарелка с горою растегаев. Он быстро с ними покончил и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емеля знал уж, что это значит, и быстро поднес ему большое общее блюдо, на котором оставался еще запас.

За обедом И. А. не любил говорить, но, покончив с каким-нибудь блюдом, под горячим впечатлением высказывал свои замечания. Так случилось и на этот раз. «Александр Михайлович, а Александра-то Егоровна какова! Не даром в Москве жила: ведь у нас здесь такого растегая никто не смастерит — и ни одной косточки! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивают. (Крылов ударял себя при этом ниже груди). — Уж вы, сударь мой, от меня ее поблагодарите. А про уху и говорить нечего — янтарный навар . . . Благородная старица!»

Телячьи отбивные котлеты были громадных размеров — еле на тарелке умещались — и половины не осилив. Крылов взял одну, затем другую, приостановился и, окинув взором обедающих, быстро произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей . . . — «Ишь белоснежные какие! Точно в Белокаменной», — счастливый и довольный поведал он. Покончить умудрился он раньше других и, увидев, что на блюде остались еще котлеты, потребовал от Емели продолжения.

Громадная жареная индейка вызвала неподдельное восхищение. — «Жар-птица!» — твердил он и, обратившись ко мне, жуя и обкапывая салфетку, повторял: «у самых уст любезный хруст . . . Ну, и поджарила Александра Егоровна! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарила. Искусница! Искусница! . . .».

Но вскоре новая радость. Крылов очень любил всякие мочения. Дедушка это знал и никогда не забывал угодить ему и в этом. И вот появились нежинские огурчики, брусника, морошка, сливы . . .— «Моченое царство, Нептуново царство!» — искренно радовался Крылов, как вишни проглатывая огромные антоновки.

Обыкновенно на званом обеде полагалось в то время четыре блюда, но для Крылова прибавлялось еще пятое. Три первых готовила кухарка, а для двух последних А. М. призывал всегда повара из Английского Собрания. Артист этот известен был под именем Федосеича. Дедушка знал его еще по Москве, где служил Федосеич одно время у родственника нашего Павла Воиновича Нащокина. В Английском Собрании считался Федосеич помощником главного повара и давно бы занял его место, если бы не запой, которым страдал он, как многие талантливые русские люди.

Появлялся Федосеич за несколько дней до обеда, при чем выбирались два блюда. На этот раз остановились на страсбургском пироге и на сладком — что то в роде гурьевской каши на каймаке. — «Ну и обед», — смеялся Ал. Мих., — «что твоя Китайская стена!»

Федосеич глубоко презирал страсбургские пироги, которые приходили к нам из-за границы в консервах. — «Это только военным в поход брать, а для барского стола нужно поработать», — негодовал он, — и появлялся с 6 фунтами свежейшего сливочного масла, трюфелями, громадными гусиными печенками, — и начинались протирания и перетирания. К обеду появлялось горою сложенное блюдо, изукрашенное зеленью и чистейшим желе.

При появлении этого произведения искусства Крылов сделал изумленное лицо, хотя наверно ждал обычного сюрприза, и, обращаясь к дедушке, с пафосом, которому старался придать искренний тон, заявил: «Друг милый и давнишний, Александр Михайлович, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить? А теперь что? — Все места заняты», — с грустью признавался он.

— «Найдется у вас еще местечко», — утешал его дедушка.

— «Место то найдется, — отвечал Крылов, самодовольно посматривая на свои необъятные размеры, но какое? Первые ряды все заняты, партерр весь, бель-этаж и все ярусы тоже. Один раек остался . . . Федосеича в раек», — трагично произнес он, — «ведь это грешно» . . .

— «Ничего, по-маленьку в партерр снизойдет», — смеялся Александр Михайлович.

— «Разве, что так», — соглашался с ним Крылов и накладывал себе тарелку горою. За этой горой таяла во рту его и вторая.

Непонятно, как мог он поглощать столько жира? Все прочие брали по небольшому кусочку, находили, что очень вкусно, но très indigeste. Обыкновенно Александра Егоровна складывала

остатки такого pâté в банку, закупоривала и долго потом подавала на закуску.

Наконец Крылов, утомленный работой, нехотя опускал вилку, а глаза всё еще с жадностью следили за лакомым блюдом.

Но вот и сладкое... Иван Андреевич опять приободрился.

— «Ну что же, найдется еще местечко?» — острил дедушка.

— «Для Федосеича трудов всегда найдется, а если бы и не нашлось, то и в проходе костоять можно», — отшучивался Крылов.

Водки и вина пил он не много, но сильно налегал на квас. Когда обед кончился, то около места Ивана Андреевича на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые шли мешали ему работать, или нарочно из скромности направлялись им под стол.

Выходить из столовой Крылов не торопился, двигался грузно, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофей, он останавливался, деловито осматривался и направлялся к покойному креслу поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал — он переваривал. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь не деликатно запрашивал его, — в ответ неслось неопределенное мычание. Кофея выпивал он два стакана со сливками на-половину. — «Да, были сливки в наше время!» — засмеялась Надежда Михайловна, — «воткнешь ложку, а она так и стоит».

Чай мы пили в половине девятого, и к этому времени Крылов постепенно отходил. Он начинал прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина у А-дра М-ча никогда не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести он всё же, залучив в уголку Емельяна, покорно говорил ему: «Ведь ужина не будет?» После чая Ив. Андр. сдавался на руки Емеле, который бережно сводил его с лестницы и усаживал в экипаж.

Царская семья благоволила к Крылову, и одно время он получал приглашения на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка пошутил: «Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас накормили — избаловали вас царские повара»... Крылов, оглянувшись и убедившись, что никого нет вблизи, ответил:

«Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал — закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уже тут ужин — и прислугу

отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка — одна краса. Сели, — суп подают: на донышке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да всё так на мели и стоит, потому что супу то самого только лужица. Ей богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата-писателя лакеи обносят? Смотрю — нет, у всех такое же мелководье. А пирожки? — не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку спял. Тут вырвался он и двух рядом со мною обнес. Верно отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая — форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, — куда меньше порционного! Да что тут удивительного, когда всё, что по-крупней, торговцам спускают. Я сам у Каменного моста покупал. За рыбою пошли французские «пинтефлюпики». Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки — всякие остаточки. На вкус не дурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо то уж далеко. Что же это, думаю, такое? здесь только пробовать дают?!

«Добрались до индейки. — Не плошай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите верьте или нет — только ножки и крылушки, на маленькие кусочки обкромленные, рядушком лежат, а самая то птица под ними припрятана и не резанная пребывает. Хороши молодчики! Взял и ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустынней. Припомнился Пушкин покойный: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?». И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибла... А тут вижу — царица-матушка печаль мою подметила и что то главному лакею говорит и на меня указывает... И что же? — Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил — ведь жалованная. Хочу брать, а птица так не разрезанная и лежит. Нет, брат, шалишь — меня не проведешь: вот так нарежь и сюда принеси, — говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного и заполучил. А все кругом смотрят — завидуют. А индейка то совсем захудалая, благородной дородности никакой, жарили спозаранку и к обеду, изверги, подогрели!

«А сладкое? — Стыдно сказать... Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, — надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, — смотришь,

опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их расписывает.

«Вернулся я домой голодный-преголодный... Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено... Пришлось в ресторацию поехать. А теперь, когда там обедать приходится,—ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе и не обедал...».

— «Ох, боюсь я, боюсь», прервал его дедушка, «что и сегодня ждет — не дождется вас ужин дома...» — Крылов божился, что сыт до отвала, что Александра Егоровна его по горло накормила, а Федосеич совсем в полон взял.

— «Ну, по совести», — не отставал дедушка: «неужели вы, Иван Андреевич, так на-тощак и спать ляжете?».

— «По совести на-тощак не лягу. Ужинать не буду, но тарелочку кислой капусты и квасу кувшинчик на сон грядущий приниму, чтобы в горле не пересохло».

В конце тридцатых годов исполнялось пятидесятилетие литературной деятельности Крылова. Он был бесспорно самым популярным писателем в России. Самобытный талант его, начиная с дворцов, покорил все слои общества. Он не только писал басни, но одновременно выковывал пословицы, которые еще при жизни его вошли в обиход русских людей.

Со всех сторон раздались голоса, предлагающие торжественно отпраздновать полу-вековой юбилей его. Таких юбилеев в России еще не праздновали и боялись, не встретится ли каких-нибудь препятствий со стороны властей. Но царская семья откликнулась одна из первых — опасаться было уж нечего.

В громадном зале Дворянского Собрания состоялся торжественный обед, и публика была допущена на хоры.

Устроители знали маленькую слабость Крылова и решили устроить ему лукулловский обед. Столица дала всё, что было у ней свежего и лучшего из провизии. Императрица предоставила свои Царскосельские оранжереи со свежей зеленью и фруктами. Купцы наперерыв раскрывали свои лавки.

На обеде подносились адресы, говорились речи. Крылов отвечал, благодарил и был растроган до слез. Еще года через три, рассказывая дедушке об оказанном ему почете, он был взволнован, но обычная слабость и тут проявилась. — «А обед то был — такого и не видывал. Икра свежая — зерно великан, а балык, семга, как весенний снег таяли... Всё тут было. Беда только в том, что по

усам текло, а в рот не попало. Вышло то так, что я как бы угощал, а угостители мои кушали... Ведь мне всё время кланяться и благодарить приходилось или выслушивать и ответ подготовлять. Да какая же уж тут еда, когда сердце желудок покорило. Хочешь к блюду приступить, а слезы мешают. Так и пропал обед — и какой обед!» — с грустью припоминал он через три года. — «Хоть бы на дом прислать догадались», — доверительно поведал он Александру Михайловичу свою давнишнюю зазнобу».

«Вот всё, что я помню о Крылове», заявила Надежда Михайловна, «и как то неловко, что всё время пришлось говорить почти только об еде. Но не моя вина, что встречалась с ним только на обедах, да и познакомилась то с ним, когда он был уже стариком и когда особенно развилось в нем обжорство, от которого он и погиб.

Александр Михайлович Тургенев высоко ценил Крылова и восхищался его баснями, но он говорил: «До обеда Иван Андреевич очень интересен. Говорит он всегда с неподдельным юмором, сыпет пословицами и прибаутками и отлично знает Россию и быт низшего офицерства, чиновничества и купечества. Во время обеда он занимателен: не каждый день встретишь человека, одаренного таким аппетитом. Винить его за это не приходится. Лучше покормишь его и его зверинец — Лису Патрикеевну, Кота Ваську, Журавля... смотришь, — новую басню выкормил. После же обеда», добавлял Александр Михайлович, «Крылов пренеприятен: сидит и переваривает, а на лице блаженство. Удав-удавом, да и тот на это время из скромности засыпает».

Близко сойтись, подружиться с Крыловым никому не удалось. Он всё сторонился, ежился, уходил в себя и убегал от всякого сближения. Какое-то недоверие, какая-то боязнь людей. «И за это винить его я не могу», говорил Александр Михайлович: «слишком неудачлива была жизнь его в молодости, слишком много он вытерпел в годы, когда сердце отзывчивее. Печать недоверия легла на всю жизнь и от клейма этого на старости уж не избавиться.

Жаль! Иван Андреевич добрейший и честнейший человек. Всегда помогал он своим родственникам-беднякам, да и по сие время, не колеблясь, идет он навстречу каждому доброму делу».

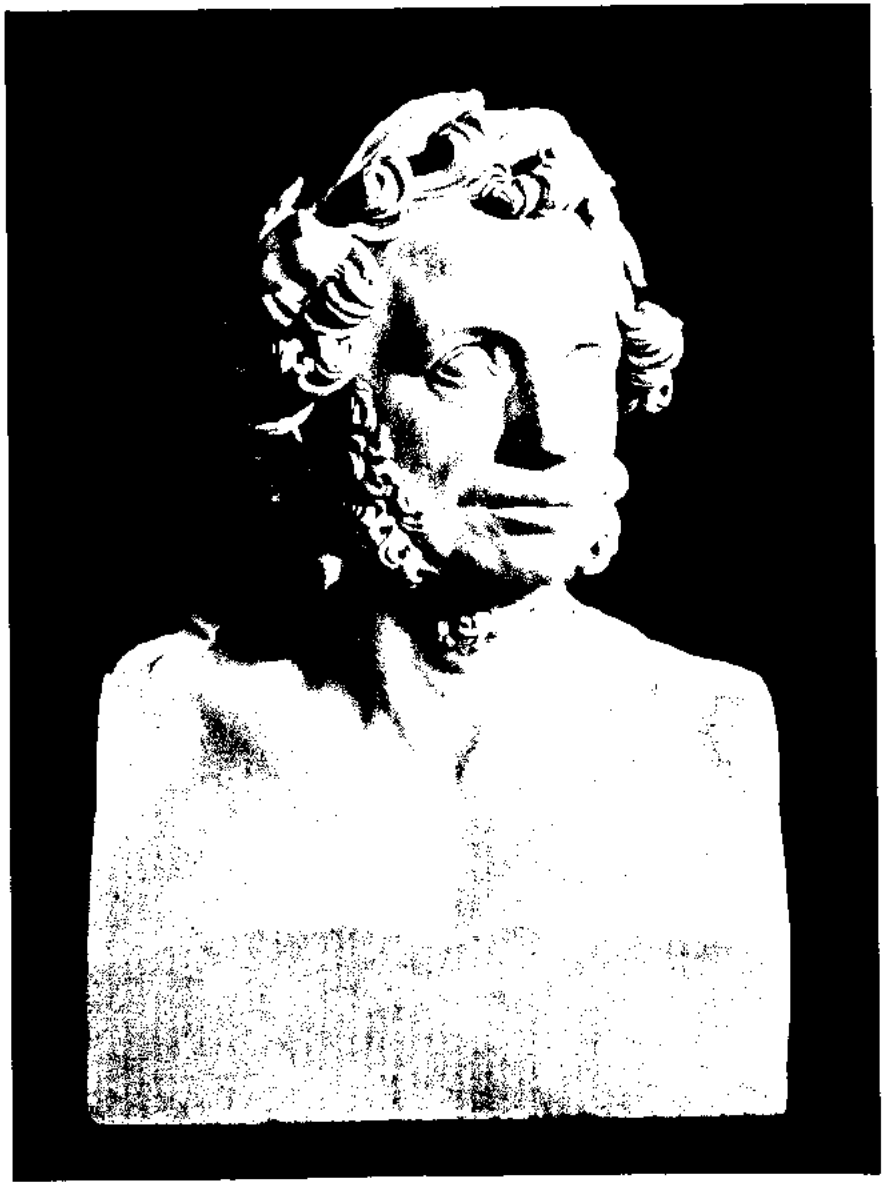
19 февраля 1880 г.

Сообщил А. С. Сомов.

БЮСТЫ ПУШКИНА РАБОТЫ ВИТАЛИ и ГАЛЬБЕРГА.

В 1924 году в Музей Пушкинского Дома Академии Наук поступил из Подотдела Художественных Ценностей Губоно через Ленинградское Отделение Государственного Музейного Фонда мраморный бюст Пушкина, размером 56 × 36 *см.* Пушкин изваян погрудно, $^3/_4$ вправо, шея и грудь обнаженные, волнистые волосы круто завиваются на концах, лицо обрамляют недлинные курчавые баки, сходящиеся на шее и образующие там как бы небольшую бородку. Нижняя часть лица поэта—подбородок—видимо не вполне закончена. Отличительной особенностью бюста является обвивающий голову Пушкина лавровый венок, сделанный из одной ветки, связанной на затылке длинной лентой, концы которой спускаются на плечи. В остальном бюст почти тожествен с бюстом Пушкина, — того типа, который обычно приписывается Самуилу Гальбергу, — лишь несколько стилизованы завитки волос, да еще в лице сделаны некоторые незначительные изменения, придающие всему облику Пушкина вид торжественный и вдохновенный. Вообще видно, что скульптор стремился не столько схватить портретное сходство с Пушкиным, сколько дать образ вдохновенного поэта,— создать «Дельфийский идол».

Бюст не носит на себе ни имени автора, ни даты создания самого бюста. Никаких сведений о том, кто автор бюста, а равно и о том, где бюст находился ранее, чем попал в Подотдел Художественных Ценностей, не имеется. Не удалось найти их до сего дня и в литературе. А между тем разгадка эта существенно необходима, так как в небогатой сравнительно иконографии Пушкина бюст этот—как по совершенству своего выполнения, так и по времени своего создания (современного или почти современного Пушкину) является крайне важным.



Бюст Пушкина, мрамор, работы Н. П. Витали.
(Музей Пушкинского Дома).

Наибольший интерес имеет, конечно, определение того, кто является автором бюста. Рассмотрению, если не разрешению этого вопроса и посвящена настоящая заметка.

Как мы уже упомянули выше, бюст типа нашего бюста, но менее стилизованный и лишенный лаврового венка, обычно приписывается Самуилу Ивановичу Гальбергу,[1] хотя он не носит его подписи и по общему своему виду довольно резко отличается от остальных бюстов того же скульптора.

Обычно было принято думать, что бюсты этого типа являются более или менее старыми слепками с бюста работы Гальберга, сделанного им в 1836—37 гг. (см. «Отчет имп. Академии Художеств» за эти годы). Слепки эти были выпущены скульптором в продажу в 1837 году по особой подписке. Сведения об этом можно найти на странице 162-й №№ 9—10 и на страницах 191—192-й №№ 11—12 издававшейся П. В. Кукольником «Художественной Газеты» 1837 года. Согласно упомянутым сведениям, подписка была устроена по инициативе «Художественной Газеты» в целях ограждения как публики, так и самого Гальберга от появления безграмотных подделок. Цена бюста по подписке была 50 рублей ассигнациями.

Самый бюст упомянутая «Газета» называет: «превосходнейшим изображением великого поэта», говоря, что «сходство, простота в движении, превосходная отделка, — постоянные достоинства нашего скульптора, — и здесь сохранили свои обычные места».

Надо заметить, что как современники Гальберга, так и люди последующих поколений, говоря о бюсте Гальберга, как то никогда не давали его точного описания, ограничиваясь лишь описанием того впечатления, которое этот бюст производит. Видимо, ни у кого из них не было сомнений относительно того, что именно описанный выше бюст принадлежит Гальбергу.

Другой, прямолинейный бюст Пушкина, изображающий поэта по-грудно, обнаженным, с неглиняными курчавыми волосами и небольшими баками, сходящимися под подбородком, обычно было принято считать бюстом работы И. П. Витали, сделанным им в 1842—1843 году (см. С. Либрович, «Пушкин в портретах», стр. 156). По типу лица бюст этот ближе всего подходит к посмертной маске

---

[1] Так он значится и до сего времени в каталоге Художественного Отдела Русского Музея. В описании Пушкинского Музея Александровского Лицея (1899 г.) под № 26 этот бюст обозначен так: «Едва-ли не Гальберга».

Пушкина работы Палацци, так что можно думать, что скульптор пользовался ею, как моделью.

Не позволяя себе касаться художественного анализа обоих бюстов, что является задачей специалистов, мы всё же позволяем себе здесь отметить, что даже для неискушенного глаза вполне ясна близость последнего из упомянутых бюстов (прямоличного) именно с работами С. И. Гальберга. Но еще больше убеждает нас в авторстве Гальберга то, что в Музее Пушкинского Дома имеется несомненно старый экземпляр этого бюста Пушкина с вдавленной в тесте, на левой стороне бюста, внизу, подписью: «Самуилъ Гальбергъ». Внимательное сличение этой подписи с подобной же подписью скульптора на находящемся в Художественном Отделе Русского Музея гипсовом бюсте П. Е. Добротова, являющемся бесспорной работой Гальберга, убеждает нас в том, что подпись эта является действительно подписью Гальберга,[1] обычной для его произведений, отлитых из гипса.

Этот экземпляр бюста, хранящийся в Музее Пушкинского Дома, поступил туда из Пушкинского Музея Александровского Лицея, куда в 1910 году был привезен И. А. Бибиковым из Псковской губернии. К сожалению, не сохранилось сведений, в чьем именно имении был найден И. А. Бибиковым этот бюст.

Таким образом, есть вполне достаточные основания считать, что С. И. Гальберг является автором прямоличного бюста Пушкина.

Что же касается первого из упомянутых бюстов нашего типа (мраморного в лавровом венке и подобного ему гипсового без венка), то за принадлежность их И. П. Витали говорят следующие доводы.

В письме к кн. П. А. Вяземскому от 29 апреля 1837 года М. П. Погодин, говоря о литературном наследии Пушкина, добавлял: «Какой бюст у нас вылеплен! Как живой. Под надзором Пащокина делал Витали». Таким образом устанавливается, что в 1837 году, т. е. одновременно или почти одновременно с Гальбергом, Витали в Москве работал над бюстом Пушкина и притом под надзором П. В. Пащокина.

Пойдем дальше. На картине масляными красками работы Н. И. Подключникова, изображающей внутренность гостиной в доме

[1] Мраморные и бронзовые бюсты Гальберга обычно подписаны печатным шрифтом.

Бюст Пушкина, гипс, работы С. И. Гальберга, с подписью скульптора. (Музей Пушкинского Дома).

П. В. Нащокина в Москве в 40-х годах XIX столетия,[1] на полке, стоящей у левой от зрителя стены, виден бюст Пушкина в лавровом венке, явно идентичный нашему. Это, добавим, единственное известное нам старое изображение нашего бюста. Таким образом, у нас есть основание полагать, что бюст Пушкина, по изготовлении его Витали, был приобретен Нащокиным, у которого и составлял одно из главных украшений его парадных комнат. Отсюда понятна особая торжественность бюста, предназначенного как бы для поклонения бессмертному поэту.

Наконец, имеются данные к установлению того, что у Нащокина находился именно наш мраморный экземпляр бюста. Данные эти таковы: М. О. Гершензон в своей статье «Друг Пушкина Нащокин» (см. «Образы прошлого». М. 1912, стр. 51—70) приводит очерк о Нащокине некоего В. Т-на, напечатанный в «Некре» за 1866 год; там мы, между прочим, читаем рассказ самого Нащокина о том, как он, будучи принужден в тяжелую минуту отдать повару на обед двадцатипятирублевую ассигнацию, переданную ему вдовою поэта на память из бумажника убитого Пушкина, прежде чем сделать это, «поплакал перед мраморным бюстом Александра Сергеевича, поцеловал его и отдал ассигнацию на закупки к обеду» (стр. 54).

Приведенные свидетельства современников убеждают нас в том, что хранящийся ныне в Музее Пушкинского Дома мраморный бюст Пушкина в лавровом венке ваяли в 1837 году И. П. Витали для П. В. Нащокина.

Весьма вероятно, что в начале 1840-х годов[2] Витали вновь вылепил бюст Пушкина, однотипный изваянному им ранее мраморному бюсту, но без добавления венка и без стилизации разреза глаз, волос на голове, бак и т. д.[3]

Так, думается нам, на основании документальных данных

---

[1] Ныне хранится в Московском Историческом Музее (копия — в Музее 40-х годов). Воспроизведена на таблице 86-й Альбома Пушкинской Выставки в Москве 1899 года.

[2] См. С. Либрович «Пушкин в портретах», С.-Пб. 1890, стр. 136.

[3] Не исключена возможность и того, что гипсовые бюсты Витали появились в Москве одновременно с мраморным или даже ранее его. По крайней мере Е. П. Капустина рассказывает о том, что уже летом 1837 года дядя ее привез из Москвы в Сокольники «большой бюст Пушкина», — «Пушкин и его современники», вып. VIII, стр. 87-89. Однако это мог быть и бюст Гальберга.

устанавливается авторство Витали и Гальберга в двух наиболее известных бюстах Пушкина.[1] Остается ждать художественного анализа обоих бюстов, который бы подтвердил или опроверг наши соображения.

М. Беляев.

П. Рейнбот.

[1] Этот бюст Витали имеется в Пушкинском Доме в гипсе, бисквите б. имп. Фарфорового Завода и в бронзе (дар С. А. Гаяшкина). Бюст Гальберга имеется в гипсе и в бронзе (из б. Пушкинского Музея Александровского Лицея). Обе бронзовые отливки новые.